

АЛЕКСАНДР БУШКОВ

« НЕПОЗНАННОЕ »

СТЕПНОЙ УЖАС



Бушков. Непознанное

Александр Бушков

Степной ужас

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бушков А. А.

Степной ужас / А. А. Бушков — «Эксмо», 2022 — (Бушков. Непознанное)

ISBN 978-5-04-164174-0

Новые тайны и загадки, изложенные великолепным рассказчиком Александром Бушковым. Это случилось теплым сентябрьским вечером 1942 года. Сотрудник особого отдела с двумя командирами отправился проверить степной район южнее Сталинграда – не окопались ли там немецкие парашютисты, диверсанты и другие вражеские группы. Командиры долго ехали по бескрайним просторам, как вдруг загорелся мотор у «козла». Пока сустились, пока тушили – напрочь сторел стартер. Пришлось заночевать в степи. В звездном небе стояла полная луна. И тишина. Как вдруг... послышались странные звуки, словно совсем близко волокни что-то невероятно тяжелое. А потом послышалось шипение – так мощно шипят разве что паровозы. Но самое ужасное – все вдруг оцепенели, и особист почувствовал, что парализован, а сердце заполняет дикий нечеловеческий ужас... Автор книги, когда еще был ребенком, часто слушал рассказы отца, Александра Бушкова-старшего, участника Великой Отечественной войны. Фантазия уносила мальчика в странные, неизведанные миры, наполненные чудесами, колдунами и всякой чертовщиной. Многие рассказы отца, который принимал участие в освобождении нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков, не только восхитили и удивили автора, но и легли потом в основу его книг из серии «Непознанное». Необыкновенная точность в деталях, ни грамма фальши или некомпетентности позволяют полностью погрузиться в другие эпохи, в другие страны с абсолютной уверенностью в том, что ИМЕННО ТАК ОНО ВСЕ И БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ.

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Содержание

Зачарованный самолет	7
Вниз по речке...	34
Степной ужас	38
Красивая песня	44
Фея посреди пожарища	49
...И телега встала[7]	61
Мой доктор Фауст	71
Что бывает в океане	89
Ночное небо	95
Короткие встречи на долгой войне	109
Люди у костра	109
А эта свадьба...	117

Александр Бушков

Степной ужас

© Бушков А.А., 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Реальность – тонкий лед, и большинство людей просто скользят по нему, как на коньках, всю свою жизнь и не знают, что он может треснуть у них под ногами.

Стивен Кинг. Чужак

Зачарованный самолет

Было это осенью пятьдесят второго в Корее. Я тогда служил... в общем, в мои служебные обязанности входил и допрос пленных. Исключительно англоязычных: американцы туда под флагом ООН натащили, кроме своих, войска еще пятнадцати стран. Кроме англичан, канадцев, австралийцев и новозеландцев, которые тоже моему попечению были поручены, были еще турки, греки, французы. Одним словом, всякой твари по паре, замучишься перечислять. Наличествовала и вовсе уж экзотическая солдатня – из Эфиопии и Люксембурга. Что они забыли в Корее (особенно Люксембург), решительно непонятно. Но вот поди ж ты, заявились... Ну, и южнокорейцы, понятно.

Каких-либо серьезных военных тайн мы в результате допросов пленных не получили, да и не рассчитывали их получить. Кроме одной, ради которой и рыли землю на три аршина вглубь: не доставили ли американцы в Корею атомные бомбы. Одно время они всерьез обсуждали, не применить ли их – причем не в Корее, а в Китае, за китайскую помощь корейцам. Причем это обсуждение велось вовсе не за семью замками, в каком-нибудь засекреченном бункере: «ястребы» открыто этого требовали и в публичных выступлениях, и в газетах. Вот мы и старались. У нас прекрасно знали, какие меры предосторожности и безопасности американцы принимают при транспортировке атомных бомб. И составили специальный вопросник: весьма длинный, каждый вопрос по отдельности выглядит совершенно невинно, человек и не догадывается, куда клонит допрашивающий. А вот все вместе они позволяют безошибочно сделать вывод: доставлены бомбы или нет.

Впрочем, я отвлекся. Случай, про который я хочу рассказать, никоим боком с атомной бомбой не связан...

Работа предстояла привычная и даже чуточку прискучившая: допросить очередного сбитого летчика. Его истребитель наши свалили над занятой нашими территорией, приняли его китайцы и передали «старшему брату», то есть нам. В те времена китайцы нас всерьез считали именно что старшим братом...

Капитан этот меня всерьез заинтересовал. Нет, не своими показаниями, они-то как раз не содержали ничего интересного, ничего, что нам не было уже известно. Своим поведением заинтересовал. Понимаете ли, сбитые американские летуны, вообще все их пленные четко делились на две категории. Одни с самого начала говорили много и охотно, иные даже с явным подострастием – лишь бы их не отправили в заснеженную Сибирь на съедение тамошним медведям-людоедам, а то и не расстреляли бы на месте, известно ведь, что «большевики» пленных жарят на постном масле и едят под водку и гармошку. Другие гордо становились в позу, заявляя, что воинские уставы им предписывают при попадании в плен сообщить свою фамилию, звание и номер части – и ничего больше.

(Вообще-то и таких гордецов мы сплошь и рядом обламывали, и петть они начинали не хуже Шаляпина. Не физическими методами, не подумайте – словесно тоже можно добиться хорошего результата, выиграть чисто психологическими методами. Ладно, не будем отвлекаться, хотя тема сама по себе страшно интересная, но разговор не о том...)

Так вот, капитан ни под одну из этих категорий не подходил. Вообще-то говорить много он начал с самого начала, вот только никак не скажешь, что – охотно. Это был какой-то стусок депрессии, самой глубокой апатии. Конечно, и те, из вышеназванных двух категорий, в депрессию порой впадали – и оттого, что их, таких бравых американских соколов, бесцеремонно приземлили «красные», и оттого, что полагали, будто с ними теперь все кончено и смертушка их ждет скорая и лютая.

Вот только у всех предшественников капитана это всегда выражалось в гораздо более легкой форме. В точности как с гриппом или какой-нибудь другой болезнью. А вот капитан был...

я и сейчас, через тридцать с лишним лет, не подберу наиболее подходящего слова. Прямо-таки олицетворение глубочайшей депрессии, какая только может на человека свалиться. Я и сейчас, когда говорю о нем, вижу его перед собой, как наяву: ссутулился, не пошевелится лишний раз, сидит как статуя, руки на коленях, взгляд тусклый, голос глухой, безжизненный, без тени эмоций и чувств, когда говорит, полное впечатление, что живут только губы, а кроме них, ни один мускул на лице не дрогнет. Предложишь ему сигарету – возьмет (курильщик был заядлый, в точности как я), но курит, словно какой-то механический автомат в облике человека – ни одного лишнего движения, подносит ли сигарету к губам, пепел ли стряхивает. На все вопросы отвечает без заминки, исчерпывающе – но опять-таки как автомат, ни словечка от себя, ни тени эмоций. Первый и, забегая вперед, последний у меня такой попался. Честное слово, порой не по себе бывало чуточку – я бы никому в том не признался, но жутковатое впечатление он производил. Словно бы и не живой человек, а какое-то создание не от мира сего. Это у меня была уже третья война после Отечественной и японской кампании, всякое повидал, но такого вот... Видел я и кишки попавших под артобстрел, видел людей, по которым проехал танк, да много чего. Но там было совсем другое, если вы только понимаете, что я имею в виду. Ни разрывов, ни изуродованных трупов, ничего такого из разряда военных ужасов. Просто... Знакомый кабинет, покойная тишина, белый день за окном – а напротив тебя сидит этот автомат в человеческом облике, говорящий на один лад, глухо и монотонно... Жутковато делается.

Поначалу я полагал, что это у него из-за травмы. Когда наш МиГ-15 его сбил, у капитанского «Сейбра» снарядом разнесло фонарь кабины, мелкими осколочками изрядно посекло капитану лицо – но это, по большому счету, были мелкие царапины, быстро затянувшиеся. А вот один осколок угодил в правый глаз, да так, что его пришлось в нашем госпитале удалить – под наркозом, понятно.

Поначалу объяснение подворачивалось очень простое: очень уж он любил небо, любил летать. И прекрасно понимал: даже благополучно вернись он из плена домой, «на землю» спишут вчистую – одноглазых в авиации не держат. Это без ног, на протезах, летчики-истребители, проявив нешуточное упорство, оставались в строю. Правда, за всю Вторую мировую было только два случая: наш Маресьев и британский пилот, фамилии не помню. Всего два случая, но ведь допустили их безногими к полетам. А вот одноглазого не допустят ни за что.

Вскоре, после разговора с медиками, от этой версии пришлось отказаться. Врачи авторитетно заверяли: с первых часов в госпитале, едва туда привезли, он уже был в том самом «состоянии робота», в каком появился передо мной. А тогда он никак не мог еще знать, что лишился глаза: китайцы его перевязали на совесть, все лицо выглядело так, словно его бешеные кошки драли, замотали бинтами так, что остались только здоровый глаз, рот и ноздри. И когда он, отойдя от наркоза, узнал, что остался без глаза, никаких изменений в его состоянии не произошло, отнесся совершенно безучастно, словно не глаза, а, скажем, зуба лишился.

Наш психолог добавил к этому: он совершенно уверен, что наш летун психически здоров, иначе бы врачи его не выпустили в полет – у американцев врачи хорошие. Ни одна психическая болезнь, пусть до того долго дремавшая и никак себя не проявлявшая, не сваливается на человека неожиданно, как кирпич с крыши. Еще он ручается: то, что капитана сбили, «детонатором» послужить никак не могло. Речь, таким образом, может идти только о психологическом шоке, правда, очень сильном. И вывести человека из этого состояния можно, даже не будучи медиком – а просто знатоком своего дела. Вот вроде меня.

И вы знаете, эти его слова на меня действовали, как красная тряпка на быка. Или, выражаясь более возвышенно, поэтически, что ли, – словно рев боевой трубы на опытного кавалерийского коня...

Тут и профессиональное самолюбие заработало, и что-то вроде охотничьего азарта. Не хочу себя сверх меры нахваливать, но что было, то было: мне не раз случалось раскалывать упрямых, матерых вражин еще в Отечественную. Не подумайте, без малейшего физического

воздействия. В нашем деле мордобой – брак в работе. Исключительно словом и напряжением мозгов. Сначала «хранили гордое презрение», молчали или откровенно с ненавистью оскорбления выплевывали, но в конце концов начинали петь соловушками.

Вот я и подумал: неужели не смогу проломить эту невидимую броню, что он на себя нацепил, эту лютую меланхолию?

Собственно говоря, нас он больше не интересовал, можно было со спокойной совестью и чувством исполненного долга отправлять в лагерь военнопленных. Никаких особых секретов он не знал – кто бы в них посвящал рядового пилота истребителя? А все, насчет чего я его качал на косвенных, было еще одним подтверждением того факта, что пока что нет никаких признаков доставки сюда в ближайшее время американского атомного оружия. Но никто бы мне ни слова упрека не сказал, доложи я, что намерен с ним еще поработать какое-то время – такие вопросы целиком отдавались на мое усмотрение. И своими прямыми обязанностями я, что важно, нисколько не пренебрегал: такова уж была специфика службы. В мои служебные обязанности входил исключительно допрос пленных – ну, понятно, иногда приходилось составлять для начальства аналитические записки и разные обзоры. А тут уж шло по принципу «Когда густо, а когда пусто». Я специализировался на офицерах противника, а остальными занимались ребята помоложе, у которых звездочек на погонах было гораздо меньше. Вот и выпадало так, что иногда целые дни, а то и недели мне было совершенно нечем заняться – и сейчас как раз оказался в таком вот простое. Так что никаких нареканий от начальства ждать не приходилось, и совесть нисколько не мучила: если рассудить, я не использовал служебное положение в личных целях, а в который раз оттачивал умение. В нашем деле главное – не закостенеть, полезно до седых волос чему-то учиться...

Словом, взялся я за моего одноглазого капитана всерьез, пустил в ход все, что умел, – без лишней спешки и ненужного нажима, понятно. Скорее уж наши долгие беседы больше напоминали «разговоры за жизнь», вертелись вокруг предметов и тем, вовсе не имевших отношения ни к войне, ни к политике. Капитан был ничуть не против долгих бесед на отвлеченные темы: в каком бы состоянии он ни пребывал, видно было, что ему предпочтительнее часами точить лясы-балясы и попивать хороший крепкий чай, чем валяться на койке в камере в компании пары-тройки таких же невезучих.

И лед тронулся, господа присяжные заседатели! Помаленьку-полегоньку мне удалось справиться с его броней. Образно выражаясь, сначала я наделал в ней дырочек, а потом она стала отваливаться кусками, дальше – больше. Ну, и наш психолог параллельно с ним работал (я его ни во что не посвящал, и он считал, что такую уж я выбрал тактику, хочу из капитана еще что-то выудить – подобное случалось не раз).

Через неделю я убедился, что все труды не пропали даром. Внучка у меня любит повторять реплику кота Матроскина из известного мультфильма: «Заработало!» Тридцать лет назад, понятно, этого мультфильма, как говорится, и в проекте не было, но сейчас я именно так и скажу: заработало! С этой чертовой броней мне, конечно, не удалось справиться на все сто, но ожил мой капитан, даже чуточку повеселел, заговорил гораздо охотнее и раскованнее, в нем теперь было гораздо больше от человека, чем от бесстрастного робота...

Я уже подготовил несколько вариантов перехода от пустых разговоров к делу. Однако получилось так, что ни один не понадобился, капитан сам облегчил мне задачу. Сказал:

– Мистер подполковник, сэр, можно задать вопрос?

– Конечно, – ответил я.

– Почему вы так странно со мной возитесь уже неделю? Говорим о чем угодно, только не о военных делах, не о том, что может интересовать разведку. Я не дурак, я вижу. Вообще-то мне это только нравится, готов и дальше продолжать. Лучше сидеть у вас с разговорами, чем валяться на койке в камере. И такого чая, и таких конфет с печеньем в камере не дают. Так в плену сидеть можно. Вот только мне чертовски любопытно, почему вы целую неделю

говорите о всяком постороннем. И распропагандировать нисколько не пытаетесь. А дома нам говорили: если попадем в плен, русские нас засыпят красной пропагандой, так чтобы мы были готовы... А вы и не пробуете...

Любопытство – это хорошо, подумал я. Это значит, помаленьку возвращаются к моему роботу человеческие чувства и эмоции. И сказал откровенно:

– Вы только не обижайтесь, капитан: нет никакой выгоды вас пропагандировать. Вы, согласитесь, рядовой пилот из превеликого множества таких. И что важнее, отец у вас простой фермер, небогатый. Вот если бы вы были сыном сенатора или миллионера, вас непременно постарались бы распропагандировать. Представьте себе во-от такие заголовки в газетах (я показал растопыренными пальцами): «Сын миллионера Смита осудил капиталистический строй и своего отца, эксплуатирующего американских пролетариев!!!» Совсем другое дело, верно? Ради такого стоит постараться...

И улыбнулся широко, доверительно. Опыт показывает, что такой тон и такая улыбка действуют на человека сильнее, чем крики и гроханье кулаком по столу. И точно, на его лице появилась ответная улыбка – первая улыбка за все время нашего знакомства. И я решил взять быка за рога:

– Причина одна: то же любопытство, что и у вас. Только по другому поводу. Мне стало чисто по-человечески любопытно: почему вы буквально с момента вашего... приземления впали в такое состояние? Стали сухой куклой? Тогда вы еще не могли знать, что лишились глаза. И плен сам по себе на вас ни за что не подействовал бы настолько ошеломляюще. Воевали во Вторую мировую, с момента вашей высадки в Нормандии, не новичок. Любой военный допускает, пусть подсознательно, что может попасть в плен, вы сами говорили, что ваше начальство вас о такой возможности предупреждало, инструктировало, как держаться в плену... Так почему? Вы сами можете сформулировать четко?

– Пожалуй что... – ответил он так, словно раздумывал. Уперся взглядом в пол, потом рывком поднял голову. – Вы не поверите, сэр...

– Постараюсь поверить, – заверил я.

– Ну ладно... Только я не вру нисколько, все так и было.

– Что?

– Это проклятое колдовство, – сказал он с видом человека, очертя голову прыгающего в ледяную воду. – Это ведь не ваш пилот меня сбил, то есть сбил, конечно, он, но еще неизвестно, как повернулось бы дело, начнись все как обычно. Вы ведь знаете – у меня четырнадцать сбитых: двенадцать в Европе и, что уж там, два здесь. Так что было бы еще неизвестно, кто кого. Все это чертово старикашкино колдовство. Никогда не верил ни в бога, ни во все эти штуки наподобие колдовства, о которых от негров слышал еще мальчишкой. А оказалось вдруг, оно есть...

Я, конечно, удивился, хотя этого не показал. Но нельзя сказать, чтобы был так уж ошеломлен. Я просто-напросто тоже не верил ни в бога, ни в черта, ни во «все эти штуки», а это, думается, совсем другое... И я спросил:

– Можете рассказать подробно?

– Вы не поверите, – повторил он.

А я повторил:

– Постараюсь поверить.

Слово за слово, и он рассказал. Передаю всё так, как помню.

– Я в Нормандии в свое время слышал французскую поговорку: «В любом деле ищите женщину». Не знаю, для всего ли это верно, только в моем случае началось как раз с женщины. С девушки...

Я помню из наших прошлых разговоров: вы хорошо знаете заочно тот город, возле которого наш аэродром. Большой город, портовый. И европейский квартал там большой, не то что

квартал, а целый район. В войну он изрядно обезлюдел: японцы загнали в концлагеря граждан всех стран, с которыми воевали, а таких было много. Ну а потом, когда мы заняли Южную Корею, уцелевшие стали понемногу возвращаться. И особенный приток новых жителей наступил, когда началась война. Хлынул целый поток разнообразных грузов, не только военных, в Японии ремонтировали нашу технику, вообще Япония стала перевалочной базой, на чем и быстренько поднялась из нищеты. Понятно, слетелась туча разных дельцов, делавших бизнес на этом потоке. Не только пришлые дельцы из множества стран, но и вполне себе европейзированные корейцы, хоть их было не так уж много. Некоторые давно перебрались в Штаты, подальше от японцев, а вот теперь вернулись на родину.

Так что я ничуть не удивился, когда увидел в магазине, в европейском квартале, интересную девушку. По внешности корейка, но одета по последней американской моде и разговаривала с продавщицей в точности как американка, знающая язык с раннего детства, без малейших неправильностей, употребляла сугубо американские словечки, с выговором уроженки западного побережья.

Красавица редкостная. Я человек холостой, с девушками никогда не был робким, хватало опыта. Так что, недолго думая, вышел, выражаясь вульгарным армейским языком, на станцию ближнего боя. Ну конечно, держался отнюдь не нахально, со всей галантностью: судя по одежде, девушка была, как говорится, из общества, не горничная какая-нибудь, а такая, у которой у самой есть свои горничные.

И вы знаете, мы быстро разговорились, а там и познакомились. Очень приманчиво она держалась: и не кокетничала вовсе, как это с ветреными девицами бывает, и недотрогу из себя не строила, не обдавала холодом. Как-то с ней было просто и легко, если вы понимаете, что я имею в виду.

В конце концов она согласилась пойти со мной в кафе, очень приличное, едва ли не лучшее в европейском квартале. И когда я пригласил ее на свидание, согласилась, опять-таки и без жеманства, и без отторжения. Так оно все и началось, мы стали встречаться, а через месяц я снял в том же квартале квартиру, небольшую, но уютную. И начались отношения – именно что отношения, а не обычный незатейливый романчик, каких у военного бывает предостаточно. Оба мы чувствовали, что тут всё побольше и посложнее...

Я правильно догадался с самого начала: она и в самом деле была с западного побережья, из Сан-Франциско. Фриско, как у нас обычно сокращают. И корейского, если разобраться, в ней были только внешность и фамилия – Пак. А звали ее Мэри, так и во всех документах значилось. Корейский знала плохо. Такая стопроцентно американская девушка: родилась в Сан-Франциско, училась в тамошней католической школе, воспитывалась, как американка. Знаете, среди корейцев немало католиков, вот и ее отец с матерью были католики, еще до того, как перебрались в Штаты. Мне ее католичество нисколько не мешало, сам я, пожалуй что, неверующий, да и родители тоже. Ну, ходили в баптистскую церковь и меня с собой брали – но это делали, как бы сказать, приличия ради. Нельзя же совсем не ходить в церковь, у нас в штате Арканзас на таких всегда смотрели косо, особенно в наших местах, в изрядной, что уж там, глуши...

Довольно скоро я немало узнал о семействе Мэри – она охотно рассказывала. Японцы захватили Корею в девятьсот десятом году. И еще примерно за полгода до этого отец и дядя Мэри сообразили, к чему идет, – и ничего хорошего для себя не ждали. Отцу к тому времени было под тридцать, а дядя был десятью годами его старше. Оба вели торговлю на широкую ногу – корейцы, как и китайцы, гораздо больше склонны к торговле, чем другие азиатские народы. У обоих были тесные связи с нашими торговцами, особенно в Сан-Франциско – вот туда оба брата с женами и перебрались, без особых хлопот получили вид на жительство: в те времена это было гораздо проще, чем в последующие годы, особенно если речь шла о людях небедных. С видом на жительство в Америке можно жить десятилетиями, так что оба брата

об американском гражданстве никогда не хлопотали. Ну а Мэри его получила автоматически. Есть у нас такой закон, по-латыни называется «лекс локис». Понятия не имею, что это по-латыни означает, но суть простая: каждый ребенок, родившийся в Штатах, американским гражданином становится именно что автоматически.

Все свои дела в Корее братья ликвидировали, так что вовремя перевели в Штаты очень приличные деньги. И занялись той же торговлей, держали магазины не только в Сан-Франциско и штате Калифорния, но и в двух соседних штатах. В миллионеры не выбились, даже первого миллиона не сколотили, но дела шли весьма неплохо. Потом их, такое впечатление, стала мучить тоска по родине, и в сорок шестом, примерно через полгода после капитуляции Японии, оба в Корею вернулись. (Я, циник этакий, подозреваю, что дело тут не в одной ностальгии. Очень уж хорошие перспективы открывались для делового человека в послевоенной неразберихе. Много японского имущества перешло в новые руки, оккупационные власти поприжали корейских бизнесменов, сотрудничавших с японцами, открывался широкий простор для корейцев «благонамеренных». Не одни братья оказались такими оборотистыми, немало их земляков, сообразив, что к чему, вернулись из Штатов и других стран, но братья оказались среди первых. Что им здорово помогло, они и здесь торговали на широкую ногу, вдобавок в Штатах продали только половину своих тамошних магазинов, оставили себе самые процветающие.)

Судя по всему, братья о покинутой Америке нисколько не жалели. А вот Мэри – совсем другое дело. В сорок шестом ей было шестнадцать, почти стопроцентно американская девушка. Конечно, после Штатов Корея ей не глянулась. Но в шестнадцать лет надо подчиняться родителям – да и потом она от них всецело зависела, как и до сих пор. Работать ей не было необходимости, вот и была, как говорится, девушкой из общества – у здешней корейской верхушки быстро сложилось то, что называется высшим обществом и светской жизнью. Но, конечно, по американским меркам это было лишь убогое подражание тому и другому.

Так она и жила – в полном достатке и с тоской по Америке. Года два назад попыталась отсюда вырваться: сказала родителям, что хочет изучать медицину в одном из американских университетов. Вот только отец сразу заявил: у них достаточно денег, чтобы Мэри никогда и ничему не училась, не гнула спину и не портила глаза над учебниками (вообще-то в такой жизненной позиции нет ничего специфически корейского, восточного). А может, он еще просто-напросто догадывался, что она таким образом хочет вернуться в Штаты, ни малейшей тяги к медицине не испытывая. Сказал еще: для девушки ее положения лучший способ найти свое место в жизни – выгодное замужество (опять-таки ничего специфически корейского, как и в заверении, что они с братом постараются ей подыскать подходящего жениха).

Ну вот... Может, это крепко сказано, но через месяца полтора наших предельно серьезных отношений я понял, что жить без нее не могу. И не в одной постели дело: обнаружилось, мы на очень многое смотрим одинаково, а характер у нее, право слово, золотой. Другой жены и желать нельзя. А потому сама собой родилась незатейливая идея: жениться на ней самым законным образом и увезти в Штаты, когда война кончится – должна же она когда-нибудь кончиться?

Очень может быть, в глазах ее родителей я и не смотрелся подходящим женихом – с их-то капиталами. Но комфортную жизнь, пусть и без особой роскоши, я мог обеспечить. Кое-что имеется за душой. Половину того, что мне платили в армии, я давненько уже откладывал – отец в меня форменным образом вбил бережливость, за что я ему только благодарен. А главное, три года назад мне досталась по наследству бабкина ферма в нашем же округе. Нельзя сказать, чтобы очень уж богатая, но и не совсем захудалая. Доход с нее был не такой уж большой, но регулярный. Так что в банке у меня уже лежит без малого двадцать пять тысяч долларов. Вполне достаточно, чтобы купить приличный домик в Литл-Роке – это столица Арканзаса – и жить, не трясясь над каждым центом.

К тому же я твердо решил после войны уйти из армии. Понимаете, давненько уже мне военная авиация поднадоела. Во Вторую мировую все было просто: мобилизовали меня, юнца зеленого, выучили на истребителя и послали в сорок четвертом в Нормандию. Там все было ясно: или мы Гитлера задавим, или он нас. А потом... Не демобилизовали, послали переучиваться на реактивные, вот как-то так и остался. Прижился, можно сказать. А теперь... Не пойму, какого черта мы с вами хлещемся в этом захолустье. Я политикой не интересуюсь, по большому счету, мне наплевать, чья будет Корея, наша или ваша. Жил без Кореи и дальше проживу. Мне бы жениться, свой дом завести, детей.

Ко всему прочему, появилась возможность через одного бывшего однополчанина неплохо устроиться на гражданке. Переучиться не на простого гражданского летчика, берите выше – на пилота трансатлантических линий. С перспективой подняться до первого пилота. А там платят даже больше, чем в армии. Так что обеспечить жену должным образом смог бы. Я пока что с Мэри об этих планах ни словечком не обмолвился. Хотел потихонечку-полегонечку навести ее на эту мысль, а уж потом всё и выложить.

Только получилось все совершенно иначе. Через два дня мне позвонила Мэри и сказала, что нам нужно срочно встретиться. Вроде бы ничего необычного, иногда она мне звонила, а иногда я ей. Вот только на этот раз голос ее звучал как-то странно: явно взволнованный, даже панические нотки слышались, порой казалось, что она вот-вот заплачет. И никогда раньше она не говорила «срочно». Когда я спросил, не случилось ли чего, она не ответила, еще раз попросила приехать срочно, если есть такая возможность. Возможность была, я пообещал, что приеду. И поехал.

По дороге мне пришло в голову: а если вдруг обнаружилось, что она беременна? Как ни береглись, а все же не убереглись однажды. Мысль такая меня ничуть не удручила, а даже наоборот, обрадовала – это только облегчало бы дело, повлияло бы на родителей. Или для беременности слишком рано? Плохо я разбирался в этих делах. Так ничего и не решил для себя толком.

Она была на себя не похожа – осунувшаяся, бледная, встревоженная, с большим трудом сдерживала слезы. И сразу же все выложила... Сегодня утром отец ей сказал, что подыскал подходящего жениха. Тоже из американских корейцев, молодой, лет тридцати, у него успешный бизнес, связанный с военными поставками, так что отец все обдумал и уверен, что лучшего мужа не найти, поэтому пусть готовится.

Ну конечно, военные поставки. Золотое дно для всех, к ним причастных, куда там армейскому капитану с его счетом в банке... С бабкиной фермой и перспективой стать пилотом трансатлантических линий. Смешно и сравнивать.

А она продолжала, уже откровенно всхлипывая: как я к ней отношусь, она не знает, не выпадало случая серьезно об этом поговорить, но что до нее, она поняла, что любит меня по-настоящему. Но отцовской воле противиться не может.

С такой грустной покорностью судьбе сказала, что меня форменным образом от гнева затрясло. Взвился, словно шило пониже спины вогнали. Плевать мне, что тут отнюдь не корейская специфика. Это все отвлеченные теоретические рассуждения. А когда напрямую задевает тебя самого, когда речь идет о девушке, которую любишь и хочешь на ней жениться... Совсем другой оборот.

И я сказал ей как есть. Что тоже ее люблю и твердо намерен на ней жениться, что я, конечно, не богат наподобие этого типа с военными поставками, но не приглашаю ее жить в лачуге и кормиться благотворительным супом – вполне в состоянии обеспечить пусть не роскошную, но достойную жизнь, причем не в Корее, где ей тоскливо, а в Штатах, где она родилась и выросла. Так что завтра же пойду к ее отцу и по всем правилам попрошу ее руки. А если он откажет, и без его согласия обойдемся. Зарегистрируем брак в американском консульстве – оба мы американские граждане, так что проблем не будет. И она на правах законной жены станет

жить на базе в моей комнате, пока не кончится война. А может, мне и раньше удастся вернуться в Штаты – норма боевых вылетов у меня почти выполнена, и при таком раскладе плевать мне на все премиальные выплаты для тех, кто соглашается остаться после выполнения нормы. Тут уже не в деньгах дело. А отец ей ничего не сделает – что он может сделать совершеннолетней американской гражданке, законной жене американского офицера? Все законы будут на нашей стороне, какой ни возьми. Главное, чтобы она согласилась.

Я ее утешал, как мог, заверил, что тоже люблю ее по-настоящему, что хочу на ней жениться, что смогу обустроить ей безбедную жизнь, главное – в Штатах. Рассказал, какой у меня план. Сначала Мэри прямо-таки полыхнула радостью и надеждой, но буквально тут же потухла, увяла, опять стала печальной. Сказала, что ничего из этого у нас не получится. Она, конечно, совершеннолетняя, и план мой ей очень нравится, но дело даже не в том, что отец рассердится и будет против. Я, в конце концов, прав: что он может нам сделать? А сама она ко мне из родительского дома ушла бы, не колеблясь. Все дело в дяде, он тут – главное препятствие. На отца он имеет огромное влияние, именно он, а не отец – инициатор брака с этим дельцом, и, что хуже всего, дядя – очень, очень, очень опасный человек. Вряд ли он ей сделает что-то такое уж плохое, а вот для меня может возникнуть смертельная опасность.

Так и повторила три раза – очень, очень, очень опасный человек. Но как я ни старался, категорически отказалась рассказать, отчего и почему этот чертов дядя так уж опасен. Сказала только, что всерьез за меня боится, дядя – старик жестокий и решительный, и если он что-то решил, все силы положит, чтобы по-его и вышло...

Ну а об меня, ответил я, зубы сломает, так что пусть не беспокоится. Я не мальчик и не оранжерейный цветочек – военный летчик, вторую войну кручу. И под смертью был не раз, и сбивал меня над Германией реактивный «мессершмитт». Только приземлился я благополучно, без единой царапинки, в расположении английской части. И вообще, я везучий, так что нисколько не боюсь штатского злобного старикана.

А Мэри твердила, что я ничего не понимаю, что тут случай особый, что дядя очень опасен. И все так же отказывалась рассказать, как с дядей обстоит и чем он так уж опасен...

На том и остались, она ушла, а я налил себе виски без содовой и уселся обдумать дальнейшие действия, а заодно и прикинуть, что это за «очень, очень, очень» опасный дядя. Я тут служил уже без малого год, в нашей контрразведке у меня был добрый приятель, так что обстановку здешнюю я знал получше многих, местными делами не интересовавшихся.

Очень быстро, раздумывая над загадочным дядей, чтоб ему на ровном месте провалиться, я, как мне тогда казалось, отыскал ответ на шараду. Одно-единственное коротенькое слово: мафия. В самом деле, это многое объясняло, если не все. Тот самый приятель мне и о ней рассказывал. В любом крупном портовом городе, под какими бы широтами дело ни происходило, гнездится мафия. Тут и контрабанда, и, как в нашем, жирные военные перевозки, вокруг которых всегда крутятся разные потаенные махинации. В здешних морях еще – самое натуральное пиратство, поставленное с большим размахом: крупные банды на быстроходных катерах, с пулеметами, агентурной сетью, подкупленными полицейскими и чиновниками. Часто грабят торговые суда, причем обнаглели настолько, что нападают и на наши корабли с военными грузами. И покончить ни с ними, ни с мафией пока что не удастся. Японскую мафию после поражения самураев наши разгромили подчистую и выкинули, но на смену ей быстро пришла корейская, самым тесным образом связанная с нашей.

Вот вам и объяснение. В самом деле, если клятый дядюшка связан с мафией или пиратами, а то и с теми и с другими, он и в самом деле типчик очень опасный. Угроза, к которой следует относиться серьезно. Такой, нужно рассуждать трезво, и на нашей базе может достать отравой, ножом или пулей. А если этот новоявленный женишок тоже с кем-то таким повязан – угроза двойная.

Только и для этой угрозы, очень может быть, и двойной, я вскоре придумал средство. Мэри уходит из дома, мы заключаем брак – только она не со мной на базе будет жить, а с первым же пароходом уедет в Штаты, во Фриско, а оттуда в Арканзас, на ферму к отцу, и там останется, пока я не вернусь в Штаты. Отцу я все напишу обстоятельно, он будет только рад. То, что она корейка, он, я уверен, спокойно примет, хотя наверняка с некоторой грустью подумает что-то вроде: «Не мог, шалопаи, свою найти...» Японки, корейки и китайки в качестве жен для Америки – явление редкое, но вполне житейское. Неподалеку от нас живет фермер, у которого сын с войны жену-филиппинку привез, ничего, прижилась, работающая, смиренная. Негритянки, конечно, другое дело. Будь она негритянкой, отец ее на порог бы не пустил, да и меня форменным образом проклял бы. Так уж у нас заведено. В жизни не слышал, чтобы у нас в Арканзасе, да и вообще на Юге, белый на черной женился. Я не говорю, что мы черных не любим или там умышленно преследуем. Просто они сами по себе, а мы сами по себе, так уж бог знает с каких времен заведено.

Словом, при таком обороте дела Мэри была бы в полной безопасности. Арканзасские фермеры – народ твердый. В каждом доме не один ствол отыщется. Если и нагрянут какие-нибудь гангстеры, от них и пуговиц не найдут, наши сами управятся, без шерифа, к шерифу они в самых крайних случаях обращаются. Ну, а то, что я здесь остаюсь, в пределах гангстерской или пиратской досягаемости... Не так уж и страшно, если подумать. После всех моих перипетий в небе паршивые местные гангстеры как-то убого смотрятся. В городе постараюсь появляться как можно реже, по крайней необходимости, а на базе, где хватает услуги из местных, буду держать ушки на макушке и без пистолета в кармане из комнаты не выйду. Посмотрим еще, кто кого...

Этим новым планом я не ограничился, придумал еще один. Если то, о чем я только что рассказал, смело можно считать объявлением военных действий, почему бы не попытаться сначала решить дело миром? В конце-то концов, такая попытка ни мне, ни Мэри ничем абсолютно не грозила...

Предприятие я задумал незатейливое, старое как мир. Какие могут быть сложности, хитрости и новизна в самом обычном сватовстве?

На другое утро надел парадный мундир, прицепил все свои награды, узнал по телефону, что отец Мэри у себя в офисе, через секретаря назначил место встречи и поехал в город. Без орудия, конечно – чем бы наш разговор ни кончился, безусловно, не станут убивать в офисе или на обратном пути на базу.

Офис у него был большой, сразу видно, что фирма процветает. И выглядел в точности как обычный американский офис крупного воротилы: корейцы, мужчины и женщины, одеты по-европейски, впрочем, и европейцы попадаются. Стрекогут пишущие машинки и телетайпы, звонят телефоны, снуют озабоченные служащие с бумагами – все как обычно.

И кабинет у отца Мэри был самый обыкновенный. Ничего корейского – разве что в углу на лакированной подставке кроме американского еще и корейский флаг, и на стене, за спиной хозяина, кроме президента Трумэна, еще и корейский президент Ли Сын Ман. Это ни о чем еще не говорило – наверняка у наших мафиозных боссов кабинеты выглядят точно так же, и их офисы ничем не отличаются от обычных...

И отец Мэри выглядел в точности так, как должен выглядеть американский респектабельный делец: в дорогом, прекрасно сидевшем на нем костюме, с бриллиантовым перстнем, бриллиантовой булавкой в галстук, попыхивал дорогой сигарой. Трудно сказать, глядя на его азиатски непроницаемую физиономию, какие эмоции за ней кроются, но мне отчего-то показалось, что он нисколько не удивился моему визиту. Такое осталось впечатление.

Он вежливо предложил виски и сигару. Я вежливо отказался и сразу перешел к делу. Рассказал, что мы с Мэри, так уж случилось, любим друг друга и я собираюсь на ней жениться.

Мы об этом уже говорили, и она нисколько не против. Поэтому я по всем правилам, как человек взрослый и серьезный, пришел просить ее руки.

О том, какие отношения нас связывают, я, разумеется, ни словечком не упомянул: отцы молодых девушек, где бы дело ни происходило, к таким новостям относятся очень неодобрительно.

У него ни одна жилка на лице не дрогнула. Убедившись, что я закончил, от задал вопрос, какого в этой ситуации можно было ожидать от любого отца: на что мы собираемся жить? Грубо говоря, что у меня есть за душой?

Я рассказал и о бабкиной ферме, и о своем банковском счете, и о перспективе стать пилотом трансатлантических линий. Он слушал с тем же непроницаемым видом, а выслушав, спросил:

– И только?

Это было произнесено ровным, бесстрастным тоном, но мне не без оснований почудилась не просто насмешка, натуральная издевка. Так, наверное, держался бы какой-нибудь хладнокровный король, заявись к нему сватать принцессу захудалый дворянчик с парой убогих деревенок за душой. Я промолчал – а что мне оставалось делать?

Тогда заговорил он. Все так же ровно, бесстрастно, без тени эмоций. Что ж, этого следовало ожидать... Он говорил, что чувства – это, конечно, прекрасно, но, по его глубокому убеждению, они годятся исключительно для романтических фильмов и книг, а в реальной жизни, увы, все обстоит гораздо приземленнее. Не буду дословно передавать его довольно длинный монолог, вы, наверное, и так представляете, что богач вроде него мог сказать парню вроде меня. Он считает отцовским долгом устроить судьбу дочери как можно лучше, благо ситуация тому благоприятствует... И всё такое прочее. А потому, к превеликому сожалению, он из самых благих побуждений, исключительно в заботах о Мэри вынужден мне отказать.

Прозвучало всё это так, что никаких сомнений не осталось: он всё для себя решил и решения не изменит. Любые попытки переубедить не помогут. И я встал, чтобы уйти – а что еще оставалось делать?

– Сядьте, капитан, – сказал он невозмутимо. – Мы еще не закончили.

Я сел.

– Вам, конечно, такой адрес знаком, – сказал он. И назвал улицу, номер дома и квартиры, где мы с Мэри встречались. – Я знаю, какие отношения вас связывают... связывали. Мне, как отцу, это страшно не нравится, как и вам не понравилось бы на моем месте. Но в ярость приходить не буду – Мэри взрослая девушка, гораздо больше американка, чем кореянка, да и я прожил в Америке большую половину жизни. Однако еще не поздно всё поправить. Конечно, я не могу держать Мэри дома под замком – не те времена на дворе, и люди не те. Но вы должны порвать с ней всякие отношения. Безотлагательно и бесповоротно. Так будет лучше в первую очередь для вас.

– Угрожаете, мистер Пак? – усмехнулся я (и боюсь, улыбка была вымученной).

– Ну что за глупости вы говорите! – сказал он так искренне и открыто, что веры ему не было ни на грош. – Как бы я посмел, скромный лавочник, угрожать американскому офицеру? Бравому летчику, который защищает нас, убогих корейцев, от коммунистической заразы? Я просто-напросто пытаюсь, как уж получается, донести до вас сложность нашего мира. В молодости нам кажется, что мир прост и незатейлив, а это совсем не так. Сколько вам лет, двадцать пять?

– Двадцать восемь.

– Ну вот видите, – сказал он тоном доброго дядюшки. – Когда я был в вашем возрасте, тоже не задумывался над сложностью мира. Но потом понял: мир наш полон сложностей. И иные из них могут оказаться для человека опасными. Очень, очень опасными. И все гораздо сложнее, нежели, как вы выразились, «угрозы». Хорошенько подумайте над тем, что я сказал.

Иные сложности мира способны человека погубить... и люди будут здесь совершенно ни при чем. Совершенно...

Он замолчал, молчал долго, и я понял, что разговор окончен. Встал и ушел, не прощаясь. Когда сел в джип, весь кипел, но потом с собой справился. Следовало обдумать ситуацию хладнокровно – в точности как на разборе полетов или инструктаже перед очередным боевым заданием.

Без сомнения, за нами следили... и не за нами, а за одной Мэри. Я ничего не смыслю в слежке и прочих таких делах, разве что порой от скуки прочитаю детективный роман – но детективы ничему научить не могут, там просто пишется «я следил» или «за мной, я сразу определил, следили». А технология, так сказать, почти и не описывается. Но тут, по-моему, достаточно обычной житейской сметки.

Следить за мной, я подумал, слишком сложно. Откуда им знать, когда точно я выезжаю с базы? А вот следить за Мэри гораздо проще. Кто? Я слышал краем уха, что и здесь есть частные сыщики. Но в сочетании с угрозами мистера Пака скорее уж заподозришь, что речь идет о местной мафии.

То, что ее папаша оказался связан с мафией, а то и сам – мафиозо, меня нисколько не испугало. Может, еще и потому, что до сих пор я с мафиозо не сталкивался, плохо представлял, что они такое и чего от них ждать. Этакая абстрактная угроза. Ну, как эскимос, привыкший к угрозе исключительно от белых медведей, не умеет толком бояться ядовитых змей. Даже если и знает, что они есть и их укусы бывают смертельными. А еще я подумал: драться с реактивными «мессершмиттами» было делом гораздо более опасным и, что греха таить, почти безнадежным...

И я вовсе не отказался от мысли жениться на Мэри и отправить ее к моему отцу в Штаты. Наоборот, только укрепился в этой мысли. Уж там-то ее не достанут. Гангстеры – парни серьезные, кто бы спорил, вот только они наверняка не знают, на что способен арканзасский фермер из глухомани, если его разозлить...

Ну а я... Постараюсь не высовывать нос с базы, смотреть в оба, держать ушки на макушке, и пусть попробуют меня достать. Это еще бабушка надвое сказала, кто кого...

В общем, я приехал на базу, уже окончательно успокоившись. И чтобы кое-что прояснить, пошел к Биллу, тому самому приятелю из контрразведки. Отношения у нас были вполне дружеские, доверительные, и я ему рассказал практически все – ну конечно, без тех подробностей, что были моим личным делом.

Билли почти что и не раздумывал. Сказал:

– Правильно рассуждаешь. Следить за тобой – чересчур хлопотное дело. Пришлось бы долго торчать в машине неподалеку от базы, не зная, когда ты выедешь и вообще поедешь ли в город. Охрана базы как раз и наблюдает за такими вот подозрительными машинами, и серьезные люди вроде местных мафиози не могут этого не знать. Зачем им лезть на рожон? Гораздо проще и безопаснее следить за твоей девушкой. Скажем, кто-то из слуг подслушивает ваши с ней разговоры по параллельному телефону и, когда она выходит из дома, дает знать шпиикам. Или просто сообщает всякий раз, когда она выходит из дома. А шпиики могут хоть круглые сутки сидеть в машине возле дома ее папаша. Серьезному мафиозо или просто богатому человеку устроить такое – раз плюнуть. А слежку твоя девушка выявлять просто не умеет, как и ты. Сам говоришь, вы с ней ни разу и не подумали, что за ней могут следить. А они следили. И узнали точный адрес вашего гнездышка.

– Погоди, – сказал я. – Ну хорошо, узнали улицу и дом. А как проведати номер квартиры?

– Это тоже дело нехитрое, – сказал Билли. – Шпик, чуточку выждав, заходит в подъезд следом за девушкой и видит, в какую квартиру она заходит. Как ни в чем не бывало поднимается этажом выше – и, когда она скроется в квартире, на цыпочках спускается вниз. Всего делов...

– А если квартира – на последнем этаже? – полюбопытствовал я. – Наша не на последнем, на третьем, но все равно интересно...

– Тоже ничего сложного, – ухмыльнулся Билли. – Шпик как ни в чем не бывало спрашивает у твоей девушки... ну, скажем, не знает ли она, в какой квартире живет мистер Чен. Она отвечает, что не знает – вы с ней ведь наверняка не знаете соседей по имени? Вот... Потом он для пушего правдоподобия звонит в соседние квартиры с тем же вопросом. И, не найдя своего Чена, вежливо извиняется за беспокойство и спокойно уходит. Никто ничего не заподозрит, вы с ней в том числе. Примерно так эти дела обделываются... что-то вроде этого, я уверен, и произошло. Иначе откуда папаша знает этот адрес? Человек его положения никогда не стал бы следить сам – вот нужных людей найти нетрудно, обладая деньгами и жизненным опытом. Особенно если он связан с мафией. Ну, не вешай носа. Есть управа и на мафию.

И он рассказал – конечно, под глубочайшим секретом, – что именно он имеет в виду. Мафию, сказал он, еще никому и никогда не удавалось искоренить полностью. Даже Муссолини, хотя он и пользовался исключительно зверскими методами, которые ни в одной демократической стране не прокатят. Так что мафию приходится терпеть как неизбежное зло вроде грозы или торнадо. Весьма существенное отличие в том, что с грозой или торнадо нельзя договориться... С мафией, строго между нами, предупредил он, обстоит как раз наоборот. Есть кое-какие каналы связи при необходимости. Сам Билли такими вещами не занимается, но знает людей, которые занимаются, и может с ними поговорить, чтобы помогли. В конце концов этим мафиози объяснят, насколько для них может оказаться вредно для здоровья, если будут цепляться к американским офицерам. Кое-кто может рассердиться и чувствительно намылить им холку. Примерно так. Быстро такие дела не делаются, несколько дней отнимет – но дней через несколько результат будет, и все, Билли не сомневается, решится в мою пользу.

Ушел я от него, не на шутку обнадеженный, даже повеселевший. Получалось, что теперь мне драться не в одиночку, за спиной появилась сила, ничуть не уступавшая корейской мафии, а то и превосходившая. Говоря военным языком, тылы были надежно прикрыты.

А потому, едва я вернулся к себе, веселый и радостный, тут же позвонил Мэри и спросил: может ли она прийти на свидание, в нашу квартиру, конечно. Вообще, как у нее обстоят дела? Добавил, что говорил с ее отцом, но по телефону слишком долго рассказывать, да и наши телефонистки могут от скуки слушать разговоры (она уже знала, что так и обстоит, и девушки с узла связи любят посплетничать, и не только меж собой).

Голос у нее был грустный, все такой же тусклый, но прийти в нашу квартиру она согласилась – никак не похоже (я действовал осторожными намеками), что родители ограничили свободу. Подозреваю, дело было еще и в извечном женском любопытстве – едва она услышала, что я говорил с ее отцом, голос зазвучал по-другому.

Дальше начался сущий детективный роман. Я приехал загодя, сидел в джипе неподалеку от особняка ее отца, там, откуда мог хорошо видеть и вход, и окрестности. Сыщик из меня, конечно, никакой, но я не увидел ни людей в машине, ни просто людей, которые следили бы за входом. Не нужно быть сыщиком, чтобы определить: ничего подобного, не могут же шпики стать невидимками?

Она вскоре вышла, до нашего дома, как всегда, должна была добираться пешком – там пройти нужно было всего-то два квартала, пусть длинных. Я медленно поехал метрах в ста за ней. Знал из тех же романов, что шпик при слежке всегда держит определенную дистанцию – но опять-таки был уверен, что никто за ней на такой вот дистанции не идет, ни мужчина, ни женщина. Прохожих на улице было не так уж много, и я верил, что не ошибся. Выждал немного – но никто следом за ней в подъезд не вошел. Впрочем, и нужды не было – если уж они знали точный адрес, должны были и так понять, куда она пошла.

Как я и думал, она первым делом хотела знать все о моем разговоре с ее отцом. Я рассказал подробно. Она еще больше запечалилась, со слезами на глазах сказала: вот видишь, я же предупреждала, что кончится чем-то вроде этого...

Я, понятно, принялся ее утешать. Рассказал о разговоре с Билли, заверил, что парень он надежный и все свои обещания выполняет. И подробно изложил свой план: отправлю ее в Штаты на ферму к отцу, и он мою законную жену примет, я не сомневаюсь, как родную. Я почти не знаю, какие у корейцев традиции, но отец ее как-никак большую часть жизни прожил в Америке, и мать тоже, а это не может не повлиять. Крепко сомневаюсь, что родители от нее отрекутся и проклянут так, как это показывают в фильмах из старинной жизни. Такое, что греха таить, и в Штатах случается, но крайне редко – как-никак середина двадцатого века. Если и бывает, то в вовсе уж глухом фермерском захолустье. У нас в округе я ни о чем подобном отродясь не слышал – а ведь отец ее много лет прожил не в какой-нибудь глухомани, а во Фриско, одном из самых больших американских городов.

Мэри сказала, что пошла бы на то, что я предлагаю, но только при других условиях. Как-то загадочно это прозвучало, «других», и я спросил напрямую: не связан ли ее отец с мафией, а то и сам – серьезный мафиозо? Даже если так, нечего ей бояться: в наших местах мафия как-то не котируется, тем более корейская, и фермеры наши любой мафии, если сунется, покажут, что почем и с какой стороны у опоссума хвост, а у винчестера приклад.

Мэри сказала, что я ничего не понимаю, что все гораздо хуже, чем мафия или даже пираты. И, я чувствовал, замкнулась, как устрица во время отлива.

Естественно, я жаждал объяснений. Что в этом городе может быть хуже мафии или пиратов? И приложил все усилия, чтобы ее разговорить, очень деликатно, нежно даже, но чертовски настойчиво. Удалось. В конце концов она сдалась. И выложила такое, что у меня рот раскрылся от изумления пошире дула авиапушки.

Вы только представьте себе! Получалось, что дядя у нее – самый натуральный колдун, причем злой, в точности как в серии комиксов, которые я собирал мальчишкой: «Злой колдун Зеппо и Боцман». Ну, не ко всем злой, ее он любит и всегда был к ней очень добрым, но вот другим может сделать много плохого...

В другое время, не будь она такой расстроенной, я бы расхохотался во все горло. На дворе середина двадцатого века! Телевизоры есть у многих, реактивные самолеты возят пассажиров через Атлантику, как подземка или автобусы, газеты все чаще пишут, что вскоре люди полетят в космос, как в фантастических романах или журнале «Занимательные истории», на других планетах высадятся. Да мало ли всякого, что лет сто назад оказалось бы сказкой или чудесами. И вдруг – натуральный колдун! Они бывают только в комиксах и в кино. Кто нынче всерьез верит в колдовство или ведьм? Одни только неграмотные негры с плантаций. Мальчишкой я от них всякого наслушался, как и мои приятели – но мы уже тогда не особенно верили, а когда я стал взрослеть, не верил вовсе. В жизни мне не встречались колдуны и ведьмы, и никому из белых в наших краях тоже. А Мэри к тому же – никак не девушка из захолустья, большую часть жизни прожила во Фриско, училась в католической школе, стыдно верить современной американской девушке – а кто же она еще? – во всякие средневековые сказки...

Она повторила, что я ничего не понимаю. И стала рассказывать...

Впервые она узнала, на что ее дядя способен, когда ей было лет пять. Дядя часто с ней возился. И начал доставать буквально из воздуха ее любимые шоколадки, лакричные леденцы, мороженое «Баскин и Роббинс». Потом ее куклы и плюшевые медведи ожили, стали расхаживать по детской, разговаривать с ней, петь ее любимые песенки. Медведи разъезжали на плюшевых осликах, показывали всякие номера, как цирковые наездники, клоуны жонглировали мячиками, куклы танцевали. Малышке все это страшно нравилось – и она, как любой ребенок на ее месте и в ее возрасте, нисколько не задумывалась, что такого просто-напросто не должно быть...

Потом она подросла, пошла в школу, а там и перестала играть в куклы, и все они отправились в шкаф. Но ее любимые сладости дядя по-прежнему доставал из воздуха. Родители, оказалось, знали все и о сладостях, и об оживающих куклах, но настрого ей наказали никому в школе об этом не рассказывать. Она и не рассказывала. Когда ей было лет десять, началось кое-что другое. Вместе с дядей к ней всякий раз приходили персонажи ее любимых книжек, мультфильмов и кино с живыми актерами: Русалочка, Дороти с Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Львом¹, Белоснежка с семьей гномами, Бетти Буп², Принцесса-Златовласка и другие. Они были величиной с кукол и совсем как настоящие – гномы и друзья Дороти здоровались с ней за руку. Рассказывали ей всякие истории из своей жизни, о волшебной стране, играли – некоторые игры придумывали сами, на ходу. О них тоже нельзя было никому рассказывать – а то, предупредил дядя, они больше никогда не придут.

Когда она стала подростком, кое-что изменилось. Теперь с ней приходили только сказочные девчонки – и они не столько играли, сколько долго болтали обо всем на свете, как это у девчонок водится. В этом возрасте девчонки начинают болтать и о мальчиках – но вот дядя был категорически против этих разговоров. Так что Мэри порой жалела, что ее гости не могут приходиться сами по себе, появляются исключительно вместе с дядей.

В конце концов она не выдержала, не смогла держать язык за зубами. Одной из ее лучших, закадычных и старых, еще с дошкольных времен, подруг была Джейн, тоже корейка, тоже родившаяся во Фриско у давно обосновавшихся там родителей. Ей-то Мэри все и рассказывала: и об оживавших куклах, и о том, как обстояло с гостями, а сейчас обстоит с гостями.

К немалому удивлению Мэри, Джейн нисколько не удивилась и не выказала ни малейшего недоверия. Наоборот... Мэри ей все рассказала под величайшим секретом, взяла их тогдашние жуткие клятвы молчать, а вот теперь Джейн заявила, что расскажет кое-что под величайшим секретом и не иначе как взяв предварительно самые жуткие клятвы. Мэри, очень заинтригованная, уверила, что молчать будет, и все клятвы дала.

Вот Джейн и рассказала... По ее словам, белые об этом ничегошеньки не знали, а вот кое-кто из корейской общины, в том числе ее дедушка с бабушкой, как раз знали. Джейн говорила Мэри, что ее дядя – самый настоящий колдун, причем у него больше злого колдовства, чем доброго. И она недавно подслушала разговор дедушки с другим корейским стариком. Они прямо говорили, что дядя Мэри уже сгубил злым колдовством несколько человек, корейца и трех американцев. Все они были серьезными конкурентами отцу Мэри в бизнесе, и дядя таким образом брату помогал. Водилось за ним и что-то еще крайне нехорошее – но что именно, старики обсуждать не стали.

У Мэри осталось впечатление, что Джейн пожалела о своей откровенности – Мэри уже была достаточно большая, чтобы подметить такие вещи. Джейн казалась испуганной, прямо-таки умоляла Мэри намертво молчать об их разговоре, так что Мэри пришлось еще раз давать эти их жуткие клятвы.

Что было потом? Да ничего, собственно. В колдовство Мэри скорее верила, чем не верила. Потому что верила священнику, преподававшему в их школе Закон Божий (в обычных школах этого нет, а в католических есть). Он говорил: колдовство, безусловно, существует, но оно исключительно от дьявола, и прикасаться к нему не следует, чтобы не погубить свою бессмертную душу. О том же говорили и учительницы-монахини.

Вот только Мэри категорически не верила, что дядя – злой колдун. Ничего плохого она от него в жизни не видела, наоборот. Вызывал он к ней не чертей или злых духов, как делают злые колдуны в сказках и комиксах, а безобидных героев и героинь детских книжек и кино. Где же тут пресловутые происки дьявола? Так что Мэри отношения к дяде нисколько не изменила.

¹ По книгам Александра Волкова (часть из них – пересказ цикла Л. Ф. Баума о Волшебной стране) известна у нас как Элли.

² Веселая, проказливая девица, героиня комиксов и мультфильмов.

А через неделю Джейн неожиданно умерла – тяжелая пневмония. Тогда Мэри в ее смерти ничего странного не увидела – а вот потом, она сказала, мнение переменяла, не сразу, через пару лет, после того как приключилось еще одно несчастье...

В отношениях с дядей какое-то время всё шло как обычно – то есть Мэри по-прежнему долго общалась со своими гостями и была им рада. Но настало время, когда она стала понимать, что их переросла. Она выросла, а они – нисколько, и в конце концов ей стало попросту скучно с ними, как было бы скучно долго болтать с девочками несколькими годами ее младше. Гораздо интереснее было с живыми ровесницами: другие разговоры, другая болтовня, другие темы, в том числе и те, против которых дядя категорически возражал и не давал их затрагивать в разговорах с гостями. Мальчики, ага. И пересуды старшекласниц о некоторых сторонах взрослой жизни – конечно, о многом они имели самое смутное, часто ошибочное представление, но болтали много, с хихоньками-хахоньками. В конце концов Мэри откровенно призналась дяде, что с гостями ей стало скучно. Он ничуть не удивился, сказал понимающе:

– Я и сам стал что-то такое замечать. А ведь ты взрослеешь, девочка, хоть я по старой памяти и отношусь к тебе как к маленькой...

И гости перестали приходить. Мэри никогда дядюшку не боялась, но тут на нее напала необычная робость. Не без труда с ней справившись, она спросила: а нельзя ли, чтобы некоторые из гостей все же остались? Только держались по-другому – не как малолетние девочки, а как ее ровесницы? Конечно, нельзя этого требовать от Дороти, она маленькая, но вот Русалочка, Принцесса-Златовласка и Белоснежка, не говоря уж о Бетти Буп, пожалуй что, даже постарше ее, но держатся, как маленькие. А ведь есть еще героини книжек, которые она теперь читает, – вполне приличных книжек. Одним словом, не может ли дядя сделать так, чтобы к ней приходили в гости сверстницы?

Ей показалось, что эта просьба дядю рассердила, хотя он и старался этого не показать. И определенно суховаго сказал: этого он не умеет (но у Мэри осталось стойкое впечатление, что он ей солгал). Он сказал еще: ей не следует забывать, что она в первую очередь кореянка, а уж потом американка. У корейцев свои традиции. И добавил еще: у него немалый жизненный опыт, и он знает, что американские старшекласницы частенько ведут меж собой достаточно вольные разговоры. И лично его это несказанно удручает – все равно о девушках какой национальности идет речь. И какое-то время откровенно морализировал: мол, раньше взрослеющие девицы вели себя совершенно иначе, что в Корее, что в Америке. И все такое прочее.

Мэри все это старательно выслушала – но про себя насмешливо думала, что это не более чем старческое брюзжание. Она где-то прочитала, что в каждом поколении старики любят критиковать «распустившуюся молодежь», и тянется это с тех времен, когда только появилась письменность. А может, все это началось еще и раньше, но письменности еще не было, а устных отзывов о «распустившейся молодежи», понятное дело, не осталось...

В последующие два года в жизни Мэри, она сама говорила, не случилось ничего, достойного упоминания. Разве что дядя по-прежнему доставал из воздуха всякие вкусные вещи – Мэри выросла, а любимые лакомства оставались прежними. Разве что теперь к сладостям добавились и модные платья, и кое-какие украшения – ну понятно, возраст, она стала почти что взрослой девушкой.

А в выпускном классе проблема возникла, да еще какая...

Ну да, мальчики. Американские старшекласницы довольно рано начинают встречаться с мальчиками. Конечно, очень и очень редко доходит до серьезных вольностей – ну, вы понимаете, о чем я. Все долго обстоит очень невинно: ходят в кино, на танцы в школе, гуляют, целуются там, где никто не видит. Мэри долгонько стояла от всего этого в стороне, как подруги ни подзуживали, – ну, строгое католическое воспитание и не менее строгое домашнее. Только в выпускном классе месяца за два до окончания школы она попала в прицел тому парню с крылышками, что порхает там и сям и пускает в людей стрелы, – я про Амура.

В День святого Патрика³ она познакомилась не с ровесником – с парнем года на четыре ее старше. Этаким Пэдди⁴ в квадрате – ирландец по имени Патрик, студент. И закрутилась... Мэри о нем рассказывала скупно, но по некоторым обмолвкам я заключил, что он и был ее первой любовью. Иначе не случилось бы того, что случилось.

Выпускной бал для нее закончился поздней ночью на заднем сиденье машины Патрика. В полном соответствии со специфической американской традицией. Только нас можно назвать нацией автомобилистов, автомобиль в нашей жизни играет огромную роль, гораздо большую, чем в любой другой стране. Ну и так уж повелось, что большинство американских девушек невинность теряют как раз на заднем сиденье машины своего парня. Мэри исключением не стала – воспитание может быть каким угодно строгим, но коли уж этот парень с крылышками пустил стрелу – ничего не попишешь.

Понятно, очень часто это заднее сиденье продолжения не имеет – пройдет какое-то время, и голубки преспокойно разлетаются в разные стороны. По себе знаю. Первый опыт – это вроде кори, которая всех достает без всяких последствий...

Только у Мэри с Патриком все обернулось совершенно иначе – ну, опять-таки не они первые, не они последние. Хоть я к этому Патрику заочно относился без всякого восторга (кому приятно знать, кто у твоей девушки был первым?), должен признать: парень, очень похоже, был неплохой и серьезный. Вскоре он предложил Мэри выйти за него замуж через год, когда он закончит колледж и устроится на работу. Заверял, что это у него не какой-то романтический нахлыв: он все обдумал и взвесил.

Мэри согласилась – как она призналась, не особенно и раздумывая. Патрик, судя по всему, был из тех, кто рассчитывает всерьез и надолго – ну да, вдобавок ко всему технарь, учился на инженера-энергетика. Планы на будущее он строил вполне реалистические.

Инженер-энергетик у нас – профессия престижная, жалование высокое даже у начинающих. Хорошее местечко ему присмотрел отец и брался туда без проблем устроить – на одну из местных ГЭС. Отец у него тоже был инженером-энергетиком, но к тому времени занимал уже немаленький пост в каком-то ведомстве штата, забыл название, которое как раз и ведало энергетикой. Так что хватало возможностей и связей устроить сына на хорошее место, с карьерными перспективами и ростом жалования. Дельный и энергичный парень может с такого места подняться высоко.

Все у него было четко расписано: сначала снимут квартиру, а примерно через год он купит в кредит не особенно роскошный, но вполне приличный домик, он уже присматривался и к квартирам, и к домикам, выяснял насчет кредита. Одним словом, дельный был парень, этого у него не отнимешь, на жизнь смотрел трезво и планы строил насквозь реалистические.

Мэри все это принимала с большим энтузиазмом. Надо полагать, все ее суровое воспитание в этих условиях (особенно после того, что произошло в его машине) дало трещины, если не рассыпалось прахом. Вообще-то родители откровенно намекали, что постараются устроить ее замужество наилучшим способом, подыщут подходящего жениха, но она не относилась к этому серьезно. Как я уже говорил, она была современной американской девушкой, а на дворе стояла середина двадцатого столетия. И родительская воля была чем-то, с чем они оба не собирались слепо считаться. В конце концов, родителей можно было поставить перед фактом – мало ли примеров?

А потом чередой пошли странные неприятности...

Сразу три их свидания подряд сорвались. Причем причина всякий раз была в Патрике. В первый раз у него скрутило живот и он лежал у себя в студенческом городке с тошнотой

³ Святой Патрик числится покровителем Ирландии. Его праздник американские ирландцы тоже отмечают пышно: уличные шествия, оркестры, торжественные богослужения, обильные застолья, гульба в барах.

⁴ Прозвище ирландцев в США, наподобие «янки» для англосаксов.

и ознобом. Врач предполагал, что он съел что-нибудь несвежее, и посоветовал внимательнее следить за питанием – причем сам Патрик ничего несвежего не помнил, но врач настаивал, что это классические симптомы пищевого отравления. Во второй раз – они тогда решили вечером поехать вновь за город, в достаточно уединенное местечко – машина Патрика сломалась так основательно, что в мастерскую ее пришлось тащить на буксире. И наконец, он оступился на лестнице, вывихнул лодыжку, так что с неделю пролежал пластом в постели.

Тогда-то у нее и зашевелились смутные подозрения – но верить до конца она не хотела...

А потом ее неожиданно позвал в кабинет отец. Там был и дядя, но он молчал, говорил главным образом отец. Мягко, но непреклонно заявил: им известно о их отношениях с Патриком, известно, что произошло вечером после выпускного бала в холмах под Фриско. Они крайне удручены, что Мэри вела себя так, как, безусловно, не подобает приличной девушке из хорошей семьи, но еще не поздно все поправить. Она больше не должна видаться с Патриком, вообще забыть о нем. Это не просьба, а категорическое требование. Были еще уговоры и увещевания, много было сказано о том, что она еще слишком молода, не должна губить себе жизнь, что Патрик ей не пара, – одним словом, все, что в таком случае могут сказать старшие.

Мэри пыталась возражать, говорила, что они любят друг друга, что намерения у них самые серьезные и они хотят пожениться. Даже робко попробовала возражать отцу, сказала, что она уже взрослая и хочет сама распоряжаться своей судьбой. Отец был непреклонен, и дядя его поддерживал. В конце концов Мэри спорить и возражать перестала, притворилась, что приняла все к сведению и сделала должные выводы. А через час, когда она хотела звонить Патрику, он сам позвонил и очень настойчиво назначил свидание.

На этот раз им ничто не помешало. Но Патрик сразу же ей рассказал, что случилось. Только что к нему в студенческий городок приезжал дядя Мэри. Точно так же сказал: отцу и ему прекрасно известно, какие отношения связывают его и Мэри. И он не просит – требует немедленно всякие отношения прервать, вообще забыть, что Мэри существует на свете. В противном случае... Нет, дядя не угрожал прямо, не сказал ничего конкретного – но это были именно угрозы, обещание серьезных неприятностей, от которых «ничто на этом свете», по выражению дяди, не спасет и не защитит.

Патрик вспылил – сказала горячая ирландская кровь. Не особенно и выбирая выражения, заявил: у дяди нет никакого права вмешиваться в их личную жизнь и что-либо запрещать. Намерения у них самые серьезные, и Мэри достаточно взрослая, чтобы по законам штата выйти замуж. А уж Патрик постарается, чтобы она была счастлива в браке. Нищенствовать им, безусловно, не придется, так что родным следует примириться с их решением – ради самой же Мэри. Неужели они хотят, чтобы Мэри была несчастлива?

Дядя слушал его со всем азиатским бесстрашием. Ответил: счастье каждый понимает по-своему. Патрик наговорил ему еще дерзостей. Тогда дядя, все такой же бесстрастный, молча шевельнул указательным пальцем. Патрик сидел у стены – и тяжелый стеклянный стакан для карандашей вдруг сорвался со стола, пролетел через комнатку и ударил в стену рядом с головой Патрика, осыпав его осколками. Патрик, конечно, был ошарашен – это произошло наяву, не во сне...

– Вот так, молодой человек, – преспокойно сказал дядя. – Теперь понимаете, что я имел в виду, когда говорил, что ничто на этом свете вас не спасет, если будете строптивым? В следующий раз это может оказаться какой-нибудь предмет потяжелее и угодить не в стену, а вам в голову... Подумайте как следует. Всего наилучшего!

И ушел, оставив Патрика в полной растерянности – ни с чем подобным он в жизни не сталкивался. А в колдовство самую чуточку верил, как многие ирландцы. Осколки стакана валялись на прежнем месте, и никаким «фокусом» объяснить это было нельзя...

Вот тут подозрения Мэри превратились чуть ли не в уверенность. Оживающие куклы и гости, смерть Джейн и то, что она рассказала о дяде, сорвавшиеся три раза подряд свидания,

наконец, сегодняшний случай... Так она и сказала Патрику – что опасается колдовства дяди, опасного в первую очередь для Патрика – дядя, она уверена, ей вреда не причинит.

Патрик не то чтобы ее высмеял, но отнесся к ее словам довольно скептически. Сказал: он еще верит, что самые настоящие колдуны могут жить где-нибудь в ирландской глуши, разные слухи ходят, но в огромном Сан-Франциско, в середине двадцатого века?! Он, без пяти минут инженер, рациональный технарь, поверить в такое никак не может. По его твердому убеждению, все можно объяснить, не привлекая ничего сверхъестественного. Скажем, всё это – гипноз, вещь вполне материалистическая. А сорвавшиеся свидания... Простое совпадение, целая их цепочка. Всякое в жизни случается. Он сам недавно читал в достаточно серьезном журнале про одного англичанина, в которого молния ударила трижды, а после его смерти ударила в его надгробие...

И все же Мэри он до конца не убедил, как ни старался. Расстались они, так ничего и не решив относительно будущего. Патрик сказал: как бы он к ней ни относился, не может себе позволить жениться, когда до окончания колледжа остается чуть меньше года. Ему просто не на что будет содержать жену, и с его стороны было бы крайне безответственно пойти на такой шаг. Так и расстались, ничего толком не решив...

А на завтра случилось уже настоящее несчастье. Приехав навестить родителей, Патрик оступился на крыльце, да так неудачно, что сломал позвоночник. Врачи разводили руками: медицина тут бессильна, остаток жизни парень проведет в инвалидной коляске...

Тут уж не было речи не то что о женитьбе, но и о дальнейших свиданиях. Патрик сам сказал, что Мэри следует его забыть, как будто его и не было. Будущего у них нет. Мэри какое-то время была в жутком состоянии, плакала, не могла есть. Не сомневалась теперь, что это всё – дядя. А он по-прежнему был с ней мягок и заботлив – но теперь Мэри его откровенно боялась...

А через полтора месяца все семейство переехало в Корею. Мэри первое время писала Патрику, но он не отвечал. Она перестала писать, и через какое-то время боль и тоска сгладились. И вот теперь случилось что-то до ужаса похожее. Тут Мэри начала плакать и сказала, что боится за меня, что и со мной может приключиться какое-нибудь несчастье, а потому нам не следует больше видеться. Как я ее ни утешал, она осталась удрученной и откровенно испуганной. Так и расстались, ничего толком не решив – как когда-то они с Патриком...

Проводив ее, я собрал в кулак чувства и постарался все трезво обдумать. Ни в какое колдовство я по-прежнему не верил. Объяснение само собой подворачивалось крайне убедительное. Собственно говоря, его нашел Патрик...

Гипноз. Обычная вещь, не имеющая отношения ни к чему сверхъестественному. Просто-напросто ее дядя был сильным гипнотизером. Вот и внушал девочке, что ее куклы оживают, что к ней приходят гости. Из самых лучших побуждений – развлекал любимую племянницу. А то, что он доставал лакомства из воздуха, – ловкость рук и не более того. Я сам видел в цирке в Литл-Роке, как фокусник доставал из прически девушки золотые двадцатидолларовики, а из цилиндра – кроликов, утку и букеты самых настоящих цветов. Колдовства в этом не было ни на цент – всего лишь ловкость рук. Случай со стаканом опять-таки можно преспокойно объяснить гипнозом: дядя сам разбил его об стену, а Патрику внушил, что он спокойно сидит на прежнем месте. Сорвавшиеся свидания и несчастный случай с Патриком – цепочка совпадений, а смерть Джейн последовала от самых что ни на есть естественных причин.

А вот на меня гипноз не действует, знаю совершенно точно. Был в Париже на выступлении какого-то сильного французского гипнотизера, говорили, знаменитого. Он как раз приглашал желающих из публики и проделывал с ними разные штуки. Моему другу Джонни он внушил, что тот вовсе не военный летчик, а танцовщица из кабаре. Джонни пел, танцевал, даже голос у него явственно изменился, стал похож на женский. Причем он сам не помнил, что с ним такое было, даже не верил мне, когда я подробно рассказывал, как он выплясывал,

выбрасывая ноги, как заправская танцовщица в коротенькой юбчонке, как играл глазами и жеманился, когда за «танцовщицей» стал ухаживать другой зритель, пожилой, толстенький, лысый, которому гипнотизер внушил, что он – молодой гусарский лейтенант.

Так вот, я сначала вышел на сцену вместе с Джонни – только у этой знаменитости ничего со мной не получилось, и в конце концов он так и сказал: «Вы, молодой человек, совершенно не поддаетесь гипнозу». Так что я совершенно успокоился: уж со мной-то у клятого дядюшки ничего не выйдет, хоть он лоб себе разбей. А значит, план остается прежним: уговорить Мэри сочетаться со мной браком и отправить ее в Штаты к отцу. Втолковать ей, что все дело в гипнозе и бояться ничего не следует, не стоит и повторять всякие глупости о колдовстве.

А на следующий день Мэри мне позвонила и попросила приехать, если есть такая возможность. Голос у нее был совершенно другой – беззаботный, даже веселый, ни следа вчерашнего дурного настроения и уж тем более слез. Я обрадовался и спросил: уж не изменилось ли что? «Кажется, да, и в лучшую сторону», – сказала она определенно кокетливо – ну абсолютно прежняя!

Понятно, я помчался к ней как на крыльях. Пытался догадаться, что могло измениться в лучшую сторону. В конце концов решил: отец понял, что погорячился, и решил дать согласие на наш брак. Другого объяснения просто не подворачивалось – иначе почему Мэри такая веселая?

Мэри в гостиной не оказалось! В гостиной сидел пожилой кореец, респектабельный, вальяжный, с бриллиантовой булавкой в галстук, при массивных золотых часах. Я прожил в Корее достаточно долго, и корейцы мне уже не казались все на одно лицо. И мне показалось, что я в нем усматриваю определенное сходство с отцом Мэри. Дядюшка, чтоб его черти взяли? Я все еще таранился на него в изумлении. И помаленьку стал закипать. Подумал, что они, подслушав наш разговор, заперли Мэри дома, а дядя, забрав у нее ключи, отправился сюда. Другого объяснения просто не было. И я спросил неприязненно, не видел причин с ним деликатничать:

– Чем обязан? Вы никак дядюшка Пак?

– Вы очень сообразительны, молодой человек, – сказал он, улыбаясь одними губами.

– Что с Мэри? – спросил я резко, начиная отходить от изумления, чем дальше, тем больше сменявшегося злостью.

– О, с ней все благополучно, – ответил он с той же ухмылочкой. – Я надеюсь, вы извините мою маленькую мистификацию.

– Вы о чем? – непонимающе спросил я.

И он заговорил... голосом Мэри! Тем самым, беззаботным, веселым, кокетливым. Повторил все, что она мне говорила полчаса назад. Я ничего еще толком не понимал, но начал уже подозревать, что мне звонила вовсе не Мэри...

– Я понимаю, вы удивлены... – сказал он, так и не убрав с лица улыбочку. Как бывает у многих азиатов, хорошо умеющих скрывать свои чувства, его лицо напоминало лицо статуи.

Я не собирался предоставлять ему инициативу. И ответил, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос звучал так же бесстрастно, как у него:

– Не особенно. Видывал в цирке и не такое. – и не удержался от шпильки: – Вы, я так понимаю, чревовещатель? А знаете, в цирке вы бы зашибали неплохую монету...

Что бы он там ни чувствовал, на лице ничего не отразилось.

– Никогда не думал о карьере циркача, мои нынешние занятия меня полностью устраивают. Мне кажется, вы уже поняли, кто я?

– Ну, тут нет ничего мудреного, – сказал я, садясь – как-никак я был здесь у себя дома. – Дядюшка Пак, я полагаю? С чем пожаловали?

– Давайте говорить без дипломатии, – сказал он. – Мне бы хотелось, чтобы вы оставили Мэри в покое и навсегда забыли о ней. Может быть, вы хотите денег?

– Не все в этом мире меряется деньгами, – отрезал я.

– О, простите, если я вас чем-то задел... Так уж случилось, что у меня многолетний опыт общения с вашими соотечественниками. И я давно понял, что в жизни американцев деньги играют большую роль...

– Не у всех и не всегда, – отрезал я.

– Ну что же, тогда попробуем по-другому... Опять-таки без дипломатии. Если вы не оставите Мэри в покое, может случиться так, что вам будет плохо. Очень плохо. Как ни при-
скорбно это говорить, но я не поручился бы за вашу жизнь...

– Вот даже как? – усмехнулся я. – Не надо меня пугать, дядюшка Пак. Я не впечатлитель-
ный хлюпик, а военный летчик. И смерти не боюсь. Частенько приходилось с ней встречаться
на встречах курсах...

– Все опасности, с которыми вы до сих пор встречались, были, так сказать, людскими, –
ответил он. – В моем лице вы можете встретиться с опасностью совершенно другого рода. От
которой у людей нет защиты...

– Ага, – сказал я. – Вы про колдовство?

– Совершенно верно. Вы в него не верите? Должен вам сказать, оно может оказаться
смертельно опасным и для того, кто в него не верит...

Он этак небрежно пошевелил пальцами, и рядом с ним возник человек в нашей летной
форме, со знаками различия капитана. Словно бы вполне реальный человек из плоти и крови,
не какой-нибудь полупрозрачный призрак. Только не живой, а мертвый. Без сомнения, мерт-
вый: глаза остекленевшие, синюшно-бледный, во лбу дыра, вроде бы от пули, и от нее до бро-
вей – потек засохшей крови. Мне даже почудилось, что в комнате завоняло разлагающимся
трупом – знал я этот запахок...

Не было страха, только раздражение и злость на эти факирские штучки, на то, что этот
долбаный фокусник старался разлучить меня с Мэри. Я навскидку кое-что придумал и тут же
претворил это в жизнь: взял со стола свой блокнот с записями разбора полетов и, как мяч в
бейсболе, запустил в своего двойника. Получилось, как я и ожидал, – блокнот прошел насквозь,
словно через дым или туман, со стуком ударился о стену, упал на пол. Призрак, конечно.
Мираж. Наверняка такими же бесплотными были и «гости», которых он приводил к Мэри...

– Вот так, – сказал я, чувствуя определенное злорадство. – Но впечатляет. Точно вам
говорю, в каком-нибудь бродячем цирке вы б неплохо заработали.

Он вновь шевельнул пальцами, уставясь на меня глазами-колючками, и призрак исчез.

– Вот так, – повторил я. – Так-то лучше. Нашли чем пугать... Меня ни немцы, ни русские
не запугали, а ведь они всерьез старались меня прикончить. Вот что, дядюшка Пак. Идите-
ка вы отсюда к чертовой матери и постарайтесь не попадаться мне на глаза. А то ведь я не из
робких и в морду не дам разве что дряхлому старику. А вам, сдается мне, до дряхлой старости
далековато... Или вы своими фокусами можете и выбитые зубы назад вставить?

Он не шелохнулся. Процедил сквозь зубы:

– Ты и не представляешь, мальчишка, с кем связался...

– Прекрасно представляю, – сказал я. – С наглым, самоуверенным типом, который счи-
тает: если он лопается от денег, может корежить другим людям судьбы, как ему заблагорассу-
дится. Повидал я и таких. Все вы одинаковые, кто бы ни были по национальности. А вдобавок
вы еще пыжитесь этими факирскими штуч-ками...

– Мальчишка, – повторил он презрительно.

И с места не сдвинулся. Так и подмывало заехать ему по физиономии, но я не потерял
головы и от этой заманчивой идеи отказался. Не из благородства души, а потому что понимал:
даже выбей я ему все до единого зубы, это ничего не решит и ничему не поможет. Нужно было
поступить по-другому, тем более что задумка была обсчитана еще вчера...

Телефон стоял на столе у меня под рукой, так что я снял трубку, не вставая. С Билли мы эту задумку тогда же обговорили: если объявится такой вот незваный гость, я позвоню, скажу нехитрую условную фразу, и Билли придет в темпе парочку своих ребят, а те голубчика сграбастают и отвезут к Билли. А уж Билли с ним сумеет потолковать по душам. И неважно, бедняк он или карманы набиты чековыми книжками, кореец он или какой-нибудь папуас. Суть дела от этого нисколько не меняется: некий нахальный тип вздумал всерьез угрожать офицеру ВВС США. А это, знаете ли, чревато для нахала неприятными последствиями, он, в конце концов, всего лишь распоясавшийся богач и даже не миллионер, и родственников из сенаторов или генералов у него точно не найдется...

Тут я едва не заорал от безмерного удивления. Как любой на моем месте. Такого я еще не видывал... Вместо гудков послышался неприятный скрежет, пронзительный визг наподобие крысиного – и трубка стала размягчаться у меня в руке, так что я побыстрее разжал пальцы, и она шлепнулась рядом с телефоном, уже изрядно деформированная, вся какая-то корявая. Телефон тоже менялся, оплывал, оседая, словно был не из бакелита, а из воска и оказался вдруг на раскаленной сковороде...

Я и тут не потерял присутствия духа. Кольт, как все последние дни в городе, был у меня в кармане. Достал пистолет, звонко загнал патрон в ствол и, держа оружие дулом вверх, установился на чертова факира взглядом, вряд ли исполненным христианского смирения. Прощедил сквозь зубы:

– Интересно, а пули ты умеешь взглядом останавливать, факир драный? Или нет?

Ни малейших угрызений совести не чувствовал: как ко мне, так и я. Хотя, конечно, стрелять ни за что не собирался: получилось бы натуральное убийство. Просто хотелось посмотреть, как у него с нервами.

Надо отдать скоту должное: он явно отличался нешуточным самообладанием. Сидел невозмутимо, как статуя из буддистского храма. Правда, на лбу у него предательски блеснула пара-тройка бисеринок пота: должен был понимать, что от человека с пистолетом в руке, которому только что всерьез угрожал, всего можно ожидать...

– Ну, что сидишь? Проваливай! – рявкнул я. – И если снова окажешься у меня на дороге, как бог свят, получишь пулю в лоб. С парнями из Арканзаса лучше не связываться – зубы обломаешь...

Он встал, очень медленно, неторопливо пошел к двери. В дверях оглянулся, прямо-таки прошипел:

– Ну все, наглый щенок, ты покойник...

И вышел, слышно было, как хлопнула входная дверь. Я спрятал пистолет, и меня прошиб идиотский смех, с которым я ничего не мог поделать: эта сцена, наши реплики как две капли воды походили на эпизод из вестерна о Диком Западе. Разве что у дядюшки Пака не было пистолета.

Я сходил в кухню и принес виски. Налил себе на три пальца, содовой добавлять не стал, отхлебнул добрый глоток и прислушался к себе. Все, в общем, было в порядке: руки не дрожат, голова ясная, ни капли не испуган – только все те же злость и раздражение не унимаются, что вполне понятно...

Следовало, не откладывая, обдумать дальнейшее с учетом его факирских штучек. И думал я не особенно долго. «Фак офф, факир!» – вот и все, что можно сказать. Все, что я только что видел, ничего, в общем, не меняет в первоначальном плане: заключить брак с Мэри, в лепешку разбиться, но уговорить ее и отправить в Арканзас. Даже если он ее там найдет, беспокоиться не о чем. Наоборот, игра сразу пойдет в мою пользу, с разгромным счетом: все обстоит гораздо легче, чем сначала показалось, факир-гипнотизер гораздо легчевеснее мафии и далеко не так опасен, как гангстеры с «томпсонами». Вряд ли он может своим гипнозом

отвести от себя пули из «винчестера» или «кольта», а на наших фермах и то, и другое найдется, хорошо ухоженное...

Вот только одно оставалось единственным темным пятном и портило всю картину, потому что гипнозом никак не объяснялось: мой бедолажный, напрочь искореженный телефон. И он, и трубка такими и остались: изрядно оплыли, едва походили на себя прежних. Я осторожно потыкал в телефон указательным пальцем – твердый, как ему и полагается, нисколько не мягкий. Я поднял трубку к уху – нормальные гудки, хоть сейчас набирай любой номер. Вот только это не удалось бы: наборный диск превратился в овал.

Вот этому объяснения не было. Но и тут не следовало верить прадедовским байкам о колдовстве. Что-то другое. Приходилось мне краем уха слышать о людях, умевших взглядом передвигать или корежить разные предметы. Не скажу, чтобы я этому так уж верил, но почему бы не допустить, вспоминая журнал «Удивительные истории» и комиксы моего детства, что есть такое умение, хоть и крайне редко встречается? Мало ли в Азии всяких загадок? И в любом случае следует удерживать это при себе и никому не рассказывать. Не поверят. Решат, что я все выдумал и ради розыгрыша засунул телефон в духовку, так что он изрядно расплавился. Я сам бы так и подумал, расскажи мне кто и покажи такой вот изнахраченный телефон.

Есть и положительный момент – с моим пистолетом он ничего не сделал, а это позволяет думать, что на оружие его штучки не простираются. Что только к лучшему: значит, не сможет завязать узлом стволы отцовского «винчестера» или «кольтов» нашего соседа Бака Смизерса. Значит, еще побарахтаемся. Главное, о чем сейчас надо думать, – как вызвать Мэри на свидание и как ее окончательно убедить поступить так, как я придумал. Убедить, что дядюшкины фокусы не имеют ничего общего с колдовством – в которое я по-прежнему не верил...

Не удалось – примерно через полчаса после того, как я вернулся на базу, нас, девятерых, собрал у себя командир эскадрильи. Боевая задача была поставлена, в общем, привычная: прикрыть наши бомбардировщики во время очередного рейда на территорию противника. Вылет – через полтора часа.

Тут уж было не до каких-то личных дел. Через полтора часа я залез в кабину своего «Сейбра».

И сразу увидел эту штуку – бросалась в глаза, как монах в борделе.

Она висела на рычажке выпуска шасси – нечто вроде ожерелья длиной примерно в фут. На черном крученом шнурке, похоже, шелковом, были старательно прикреплены пучочки каких-то высохших, как в гербарии, цветков, желтых и красных, сухая трава вперемешку с куриными косточками и свернутыми в трубочки разноцветными бумажками. Одним словом, предельно странная хрень. Я ее потрогал – все самое настоящее, ничуть не миражное, не призрачное.

Ох, и удивился я! Вы б на моем месте тоже удивились не на шутку. Кто бы ухитрился среди бела дня пробраться на строго охраняемый военный аэродром и повесить эту хреновину в кабине истребителя? Розыгрышем тут и не пахло – всякий розыгрыш имеет какой-то смысл, но зачем присобачивать в кабине совершенно необъяснимую штуковину? О том, что своего дядюшку Мэри подозревает в колдовстве, я ни одной живой душе не рассказал. Черт знает что...

Только не было времени ломать голову над очередной странностью, и удивляться стало некогда – с командного пункта дали по радио команду на прогрев двигателей. Так что я просто-напросто брезгливо, двумя пальцами взял эту хреновину, словно дохлого мыша за хвост, вышвырнул на бетонку, задвинул фонарь и дальше действовал чисто автоматически: прогрев, команда на взлет, рулежка, взлет... Всё, как десятки раз до того.

...Где-то на середине маршрута на нас посыпались сверху, из белых пухлых облаков, ваши истребители – три тройки. Не было ни малейшего замешательства – насквозь привычное дело, не в первый раз и даже не в десятый. И тактика для таких случаев прекрасно известна:

часть самолетов связывает боем истребители прикрытия, стараясь втянуть в бой всех, а другая группа бросается на бомбардировщики. Никаких загадок или неясностей, военная авиация любой страны именно эту тактику применяет.

Роли были расписаны заранее, каждый знал, что ему делать, – и четверка наших осталась прикрывать бомберы, а мы пятеро пошли навстречу МиГам. Я сразу определил, кто из ваших выбрал целью именно меня, и не в первый раз подумал: ну, мы еще посмотрим, кто у кого будет мишенью... В таких делах всегда бабушка надвое сказала.

Мы с русским разошлись на горизонталях, развернулись и опять стали сближаться. Он не столько целился на меня, сколько пытался прорваться к бомбардировщикам, а я соответственно должен был ему помешать. Довернул с небольшим левым креном, прикинул, что в следующие секунды сделаю...

Вот тут и началось...

Мой истребитель вдруг потерял управление. Совершенно. Двигатель работал исправно, но что бы я ни делал – всё впустую. «Сейбр» стало швырять и мотать, как обрывок газеты в бурю, потом машина самостоятельно, словно бы по своему хотению, закрутила «бочки». Что-то похожее – правда, без «бочек» – было со мной однажды над Германией, но тогда наши два звена попали в жуткую грозу, которую метеослужба прохлопала ушами, – и тогда я кое-как мог управлять самолетом, что-то делать, а сейчас абсолютно потерял управление.

Противника я уже не видел. Стрелки приборов плясали как полоумные, небо и земля крутили в бешеной карусели, меня мотало и швыряло, как спичечный коробок в бурном горном ручье...

И тут МиГ меня достал. Фонарь разлетелся, пахнуло гарью, все лицо омахнуло болью, правый глаз прожгло болью так, словно в него вогнали раскаленный гвоздь, а левый стала заливать кровь, и я форменным образом ослеп. Почувствовал, как самолет провалился вниз, словно брошенная в воду гиря, нащупал рычаг катапульты и рванул его вверх. В лицо по-прежнему бил тугой ветер, словно жесткой метлой хлестал, – но это вдруг кончилось, и я понял, что катапульты, в отличие от прочего, исправно сработала. Над головой хлопнул парашют, меня тряхнуло, и я поплыл к земле, которую не видел. Ничего не видел – правый глаз нестерпимо болел, левый залило кровью. На ощупь сорвал перчатки, отер ладонью левый глаз и смог им худо-бедно видеть, хотя кровь еще ползла по лицу. Схватился за лямки – земля была уже близко. Получалось плохо, но все же я сумел приземлиться на сомкнутые, согнутые в коленях ноги и завалился на бок, в общем, не особенно и ушибившись. Валялся, как манекен, сил отстегнуть лямки уже не было. Хорошо еще, стояло безветрие и меня не поволокло по земле, хотя при сильном ветре вполне могло – парашют в таких случаях работает как парус.

Валялся я так, словно мешок с тряпьем, и вдруг меня форменным образом прошило. Будто на совесть тряхнуло током или обрушился солнечный удар. Одной-единственной мыслью прошило, и эта мысль была по-настоящему жуткой. Потому что напрочь обрушилась часть моих представлений о мире, с которыми я прожил всю сознательную жизнь. Я о колдовстве, в которое никогда не верил, а теперь поневоле приходилось признать, что оно на свете все же есть и в конце концов свалилось на меня самого.

Вот именно, колдовство. Стоило подставить его на место икса в задаче – и она моментально решалась. Все то, что раньше казалось случайностью, совпадениями, факирскими штучками, получало простое объяснение, ничуть не противоречившее логике, наоборот. Теперь не было никаких сомнений: дядюшка Пак и в самом деле колдун. Только его колдовскими штучками можно было объяснить то, что произошло с моим самолетом. И все остальное, о чем рассказывала Мэри, в том числе и то, что дядюшка точно назвал место, куда они поехали после выпускного бала. Холмы неподалеку от Фриско, безлюдные места, бездорожье – но такое, по которому могла без труда проехать машина. Никакой другой машины за все время, что они там провели, и близко не было, а уж случайные пешеходы там никогда не шлялись.

Оживающие куклы, «гостьи», смерть Джейн, череда неприятностей, сорвавших три их свидания, беда с Патриком. Ничего удивительного, что дядюшка Пак узнал точный адрес квартиры, нашего любовного гнездышка, не посылая за нами никаких соглядатаев. И мой полурасплавившийся телефон. Стоило допустить, что колдовство существует, – и все происшедшее с другими и со мной укладывалось в эту версию идеально, как патроны в обойму...

Раньше не верил, а сейчас приходилось поверить, потому что никакого мало-мальски подходящего объяснения не было. Только колдун мог пробраться, никем не замеченный, среди бела дня на охранявшийся множеством часовых военный аэродром, только его колдовская штука могла вытворить такое с моим самолетом, который я знал как свои пять пальцев...

Мысль эта меня опустошила, только она и осталась в голове. Я лежал, не в силах пошевелиться, бессмысленно таращился в небо, в котором уже не было ни единого самолета – как часто случается, воздушный бой ушел куда-то далеко в сторону. Лежал, и сознание понемногу заполняла, как бассейн водой, самая черная депрессия, апатия, полнейшее равнодушие ко всему на свете. Жить не хотелось...

Кровь подсохла, перестала течь, так что левым глазом я видел небо и кучерявые белые облачка, неспешно проплывавшие там и сям. Не знаю, сколько времени прошло, на часы я не смотрел – зачем, какой в этом смысл? Вяло шевельнулась мысль, что я, несомненно, приземлился на территории противника, но и она не имела значения. Все на свете не имело никакого значения, коли уж мир, в котором я прожил двадцать восемь лет, который знал, как собственную квартиру, и считал не таившим никаких загадок, вдруг повернулся ко мне совершенно неожиданной, жуткой стороной...

Потом появились корейские солдаты. Что вы говорите? Китайские? А собственно, какая в моем положении разница? Взяли в плен и взяли. Ничего так парни, они со мной обращались очень даже вежливо. Подняли, перевязали, повели к раздолбанному грузовичку, на котором приехали, – русскому, конечно, ни ваши корейцы, ни наши не делают своих автомобилей. Так я к вам и попал – и долго еще был самой настоящей куклой. Я вам очень благодарен за то, что меня из этого поганого состояния вывели. Хотя легче от этого не стало, наоборот. Свободного времени у меня девать некуда, дни напролет валяешься на койке и думаешь. Про то, что авиация теперь для меня закрыта, что торчу в плену и неизвестно, когда отсюда выберусь. Но главным образом про то, что я торчу у вас в камере, а Мэри осталась там, в полной власти клятого колдуна. Черт, да я бы, наверное, душу дьяволу продал, чтобы побыстрее вырваться отсюда! Никогда не верил, что дьявол существует на самом деле, но коли уж жизнь заставила поверить в колдовство, почему бы заодно не поверить в дьявола? У вас, случайно, нет знакомого дьявола, который скупал бы души? Честное слово, у меня нашелся бы для него добрый товар... Нет? Жалко. И вы сами не дьявол? Жалко. Вот видите, я опять шутить могу. Но и в самом деле продал бы душу за шанс побыстрее вернуться к Мэри, и это уже никакая не шутка. Невыносимо думать, что она там совершенно одна, что ее заставят выйти замуж за того типа...

На этом, собственно, наша беседа и закончилась, больше ему было нечего рассказывать. Я звонком вызвал конвойного, и он увел капитана к месту постоянного проживания. Наш разговор я не записывал ни на бумаге, ни на проволоке⁵, хотя магнитофон сразу, едва я в том кабинете обосновался, был вмонтирован в тумбу стола, а микрофон замаскирован под одну из деталей письменного прибора. Не подумайте, что я этим нарушал какие-то служебные регламенты. Вовсе нет. Видите ли, чтобы разговорить клиента, заставить раскрыть душу, пойти на откровенность, расположить к себе, часто приходилось долго беседовать на разные отвлеченные темы, не имевшие никакого отношения к военным вопросам. В таких случаях мы отписывались стандартно: дата, время начала и конца разговора и незатейливая формулировка: «Раз-

⁵ В тогдашних магнитофонах часто вместо ленты использовалась тонкая стальная проволока.

говор на посторонние темы». Или делали такие вставки в протокол допроса. Никто никогда не интересовался, что за темы – кроме вербовщиков.

Вот, кстати, о вербовщиках. В мои задачи вербовочная работа не входила, этим согласно нашей специализации занимались другие, но я всякий раз должен был составлять для них свои соображения – насколько, на мой взгляд, очередной собеседник годится для вербовки и годится ли вообще.

Так вот, по моему мнению, капитан был вполне пригоден для вербовки. У него был мощный побудительный стимул: его Мэри Пак, к которой его неудержимо тянуло вернуться. Насчет продажи души черту – это, конечно, красивая фигура речи и не более того, но все же неплохая зацепка для вербовщика. Конечно, из армии его обязательно уволили бы, но так даже лучше, вполне годился в агентуру, как это звалось, длительного оседания. Безукоризненный послужной список, участвовал в двух войнах, что важно, прочных политических убеждений не имеет. Не очень красиво? Согласен, но что поделать, разведслужбы всего мира так работают, без особого благородства...

С этой точки зрения я и написал свои «соображения». После этого не было нужды и далее заниматься капитаном, оставалось отправить все бумаги в соответствующий отдел, что я и сделал. Всё по Грибоедову – «подписано, так с плеч долой». Ну разве что мне потом сообщали, к каким результатам вербовка привела – это тоже был показатель моей работы, начальство всегда сообщало, прав я оказался со своими «соображениями» или нет.

Наступило некоторое безделье – новых клиентов пока что не было. Все вроде бы было в порядке, но в глубине души я испытывал странные чувства, казалось, что-то остается недосказанным. Я быстро понял, что именно. Кое-что, уже не имевшее отношения к моим служебным обязанностям. Сидело в подсознании смутной занозой, как никогда прежде. Очень уж необычная была история...

В конце концов, чтобы избавиться от этой докучливой занозы, я, хотя и ругал себя чуточку, все же улучил время и поехал в один из наших авиаполков – поговорить с тем летчиком, что капитана сбил. Это уже была чистой воды самодеятельность с моей стороны, но кто бы о ней узнал, если фиксировать нашу беседу на бумаге я не собирался? Мало ли что приходится делать, как говорится, для очистки совести?

Пришел светловолосый крепыш моих лет, похожий чем-то на знаменитого тогда киноартиста Соловьева. Классический пилот из родившегося тогда же анекдота: «Корейский летчик Ли Си Цин, он же Лисицин» (фамилия, конечно, у него была другая). Как все мы, ходил в корейской форме без погон и фуражке без кокарды. Ни одного ордена на груди, конечно, но я уже знал: в Отечественную он по числу сбитых самолетов до Героя Советского Союза не дотянул, но наград получил немало, а потом еще Красное Знамя за японскую кампанию.

На контакт он пошел легко, даже оживился, когда узнал, о чем я хочу поговорить. Сказал словно бы стеснительно:

– Знаете, товарищ подполковник, впервые в жизни такое случается – я об этом сбитом. Как бы даже и похвастать нечем. Никогда раньше такого не было... Что-то с ним было определенно не так...

– Что именно? – спросил я, чувствуя что-то вроде охотничьего азарта.

– Да понимаете... – сказал он охотно. – Задание было обычное: сорвать налет бомбардировщиков на китайские позиции. И началось все как обычно: мы вышли на них сверху, часть «Сейбров» кинулась нам наперерез, а часть осталась прикрывать – ну, ими и бомберами должна была заниматься другая группа. Тут-то и случилось что-то непонятное. Разошлись мы на горизонталях, опять стали сближаться (он машинально, как это у летчиков водится, показал обеими руками виражи). Тут и началось... «Сейбра» стало мотать-швырять самым невероятным образом, как будто там сидел вдрызг пьяный или курсант в первом самостоятельном полете. Скорее пьяный вдребезину, но кто б его такого в полет выпустил? У американцев с

этим тоже дисциплина дай бог. Закрутил «бочки» без всякой нужды, показалось даже, что вот-вот сорвется в штопор. Ну, а я... Что я? Это ж бой, тут некогда удивляться и раздумывать. Вдарил по нему из всего бортового. Чутьку напортачил – его так швыряло, что я его не достал, как хотел. Но фонарь я ему сбил. Он провалился вниз, как утюг, и я видел, как раскрылся парашют. И пошел туда, где ребята всюю хлестались с американцами, или кто они там – у них же всякой твари по паре... Налет мы им сорвали, сбили пять бомберов и два истребителя, а остальные пошвыряли бомбы куда попало и припустили удирать. Ребята из второй группы еще один бомбардировщик сбили, а остальные ушли за черту, куда нам залетать настрого запрещалось. «Сейбр» упал на нашей территории, так что победу мне засчитали. Вот только победа получилась какая-то... нескладная, что ли. Его пацан мог из рогатки сбить – так его мотало, будто вдрызг пьяного по улице...

Он замолчал с видом человека, сказавшего всё, что от него хотели услышать, и добавить больше нечего. Подождал и спросил осторожно:

– А в чем там было дело, товарищ подполковник? Должно же быть какое-то объяснение... Ваши докопались? Или мне знать нельзя?

Убедительная деза, а говоря попросту, ложь у меня была приготовлена заранее, вот и пригодилась...

– Почему же, можете, – сказал я. – Все дело в химии. Помните, нам в Отечественную давали таблетки «Кола»? Усталость снимало, можно было долго не спать...

– Помню, конечно.

– Вот и здесь имело место нечто подобное. Американцы придумали какую-то хитрую фармакологию. По их замыслу, эти таблетки – или порошки, точно пока неизвестно – должны были повышать реакцию, обострять все чувства и тому подобное. Решили проверить в боевых условиях, на своих пилотах в роли подопытных кроликов. Только что-то, судя по тому, что вы только что рассказали, определенно сработало наперекосяк. Снадобье подействовало совершенно по-другому. Ну да вы сами видели, как оно подействовало на пилота.

– Ах, вот оно что... – сказал он с видом человека, разгадавшего затейливый кроссворд. – Теперь все ясно...

– Только никому ни словечка, – предупредил я.

– Конечно, товарищ подполковник, не первый год в армии.

На этом и распрощались. Я видел, что он полностью удовлетворен байкой о хитрых таблетках. Счастливцев... Что до меня, тут все обстояло далеко не так благолепно. Так и осталось ощущение, что я стою перед запертой дверью и ключа к замку у меня нет. С одной стороны, то, что рассказал летчик, вроде бы и подтверждало рассказ капитана. С другой... При слове «колдовство» мне представлялась маленькая деревня в лесной глухомани, избы, замеченные снегом чуть ли не под самую крышу. И в одной, в уголке, бормочет что-то непонятное под нос старик с окладистой бородой и колючими глазами.

Примерно так. Я готов был допустить, что когда-то, в старые времена, колдуны все же существовали на белом свете. Люди, главным образом старые, рассказывали всякое, приходилось не раз слышать, хоть я и не давал этому особенной веры. Да и жена у меня – белоруска из Полесья, рассказывала кое-что и всерьез меня убеждала, что так и обстоит. Одним словом, что касается ранешнего колдовства – дело темное. Но чтобы сейчас, в середине двадцатого века, нашелся колдун, который с помощью какой-то магической веревочки с куриными костями и сушеными цветочками смог проделать такую штуку с современным реактивным истребителем? Категорически не совмещались у меня в сознании реактивный истребитель и колдовство...

Так что я постарался загнать все, что рассказал капитан, куда-то в дальний уголок сознания и не вспоминать больше об этом. Тем более что вполне подходящее объяснение нашлось. Все дело в наркотиках. Мы знали, что многие американцы, да и военные других стран, вое-

вавшие против нас, втихомолку покуривают опиум. Там, по ту сторону, этого добра было хоть завались. Вот и капитан из этих, и то, что с ним произошло, – осложнение, что ли. Я не специалист и в наркотиках не разбираюсь совершенно, однако объяснение очень убедительное, вполне жизненное, насквозь материалистическое, и нет нужды приписывать колдовство. К специалистам по наркотикам я, конечно, обращаться не стал: у меня не было служебной необходимости, а заниматься самодеятельностью – благодарю покорно! Лучше уж будет постараться побыстрее эту историю забыть...

Что тут можно добавить? Капитана и точно завербовали. Я об этом узнал через две недели, на очередном совещании у начальства. Где и заработал скупую похвалу – начальник наш на похвалы был скуп, как, впрочем, и на разносы. В каждой успешной вербовке всегда была и капелька нашего труда, мы, помимо прочего, еще и, так сказать, рыхлили почву, а остальное было делом вербовщиков. Никаких подробностей начальник, конечно, не сообщал, но лично я не сомневаюсь, что на крючок его подцепили, используя наживку по имени Мэри.

Но получилось так, что еще через неделю я узнал, как именно его переправили к своим. Представьте себе, из газет. Да-да, из газет, причем из советских – иностранные (которые мы читали регулярно, в первую очередь американские) упомянули об этом далеко не так шумно. А у наших был неплохой пропагандистский повод пошуметь. В качестве жеста доброй воли, гуманизма и всего такого прочего мы передали той стороне четырнадцать пленных, тех, что в ходе боевых действий получили увечья, несовместимые с дальнейшей службой в армии. Двенадцать американцев, англичанин и турок. Среди американцев был и капитан.

Ну что же, неплохо придумано. Устраивать завербованным «побег из плена» было бы чересчур топорно – на той стороне сидели отнюдь не те растяпы, которых порой показывают в кино. Сколько еще среди переданных было завербованных (а капитан, безусловно, был не уникален), я представления не имею – каждый у нас знал ровно столько, сколько ему полагалось знать...

Что вы говорите? Интересно было бы знать, что с ним было потом и чем все кончилось? А я, представьте себе, знаю. Так уж сложилось, что узнал через тридцать восемь лет от него самого. Ну, конечно, расскажу, тем более что во второй раз, в отличие от первого, не было ничегошеньки секретного. В следующий раз обязательно расскажу.

Вниз по речке...

Вы наверняка знаете такую старую частушку:

Вниз по речке плыл топор
от города Кукуева.
Ну и пусть себе плывет,
железяка... хренова.

Ну конечно, ее все знают. Старая частушка. Был со мной однажды случай, словно из этой частушки позаимствованный. И было мне тогда не до смеха, как, я так прикидываю, и вам бы на моем месте...

Было это летом сорок пятого в Чехословакии. Наш танковый полк побатальонно дислоцировался возле трех маленьких городков неподалеку от гор под названием Бескиды. Меж ними было не больше трех-четырех километров: городки там насыпаны густо, как опята на пне или деревни в России. Таких городков там много: небольшие, тысячи две жителей, но весьма почтенного возраста, практически в каждом есть либо замок средневекового феодала, либо просто старинные здания (танковый батальон, к слову, – это двадцать семь машин плюс разный автотранспорт, плюс соответствующие службы).

После только что отгремевшей жуткой войны не жизнь была, а курорт. Единственное, что удручало, – скука, которую нечем было заполнить. Обязательные занятия и работы отнимали не так уж много времени, и свободного оставалось достаточно. Ну, посмотрели баронский замок века, кажется, пятнадцатого, с богатой коллекцией всевозможного холодного оружия, и больше податься и некуда, разве что взять увольнительную и поехать в один из соседних городков – но и там, в общем, то же самое. В воскресенье нам, офицерам, разрешалось ходить в пивные – со строгим наказом особо не увлекаться, иначе разрешение снимут. Ну, мы и не увлекались – возьмешь пару литровых кружек пива (ох, и отличное у чехов пиво!), пару рюмок чего-нибудь покрепче, блюдо жареных сосисок, посидишь не спеша, с толком и с расстановкой часов несколько – благодать и лепота!

А в остальное время заняться и нечем, сиди в палатке идохни от скуки. Некоторые ухари ухитрялись с соблюдением всяческих предосторожностей, в первую очередь держа это в тайне от начальства, крутить романы с местными девицами. Тогда чехи, включая женское народонаселение, относились к нам с большим дружелюбием, это потом, в шестидесятые, они показали мурло. Но таких счастливиц было всего-то трое на батальон – в маленьком городишке и свободных девушек, соответственно, по пальцам можно пересчитать.

Ну, что поделать? Многие со свойственной русскому солдату смекалкой раздобывали у чехов спиртное и втихомолку потребляли. Иные, конечно, попадались, так что гауптвахта не пустовала, но за всеми сразу никакой замполит или командир не усмотрит – нереально. А вот меня общая скука не касалась, я себе быстро нашел безобидное и приятное занятие: рыбалку. До войны, на гражданке, был заядлым рыболовом – ну а на войне какая рыбалка? И вот теперь мог невозбранно предаваться любимому времяпровождению, которое потом стали называть «хобби». Километрах в полутора от городка была река – медленная, неширокая, метров восемьдесят, но очень рыбная. Не так уж редко во-от такие лещи попадались. Комбат меня всякий раз отпускал – полагаю, ему только нравилось, что я отыскал такое безобидное, абсолютно неприкосновенное занятие. Уж со мной-то никаких хлопот, не то что с некоторыми прочими...

Словом, рыбачить я ходил стабильно, три раза в неделю, хоть часы по мне проверяй. Местные рыбачили в основном с лодок, а я подыскивал пару подходящих местечек на берегу и

прикармливал там лещей кашей. И не зря, без хорошего улова никогда не возвращался. Часть улова шла на уху моему взводу, а самых крупных лещей старшина Филюсь коптил по всем правилам, и мы потом их брали в пивную. Соседи, из других рот, нам откровенно завидовали, так что порой кто-то пытался, смастерив удочку, последовать моему примеру. Только ничего у них не получалось по причине полной неумелости. Настоящих опытных рыбаков в батальоне отыскалось только двое: я и наш военфельдшер (он был родом с Кубани, а в тех краях рыбалка знатная). Так что с рыбкой были и медсанчасть, и мой взвод. (Я тогда командовал взводом. Танковый взвод – это три машины.)

Что-то я разболтался о постороннем... Давайте к делу.

День выдался свободным, и я спозаранку отправился на утреннюю зорьку. Вообще-то, будь комбат придирчивее, все равно подыскал бы мне занятие, но он, во-первых, не был придирой, а во-вторых, у него имелся свой интерес: из той же солдатской смекалки я порой ходил ему поклониться копченым лещом, которого он, как все мы, грешные, брал в пивную. Взял я червей свеженакопанных, бутерброды, трофейный немецкий термос с крепким чаем, кусок брезента, чтобы не сидеть на голой земле, обстоятельно подготовился, одним словом, как всегда. Кобура с пистолетом, как обычно, оттягивала ремень. Я ровным счетом ничего не опасался: хищного зверья там не водилось, а «лесных братьев» и в помине не было, не то что в Польше, где они нам и в спину постреливали, и мины на рельсы закладывали, и всяко-иначе пакостили. Просто так уж офицеру полагалось.

Дело заладилось с самого начала. И получаса не прошло, а я уже вытащил двух очень даже приличных лещей, явно из прикормленных по моему коварству. Начало хорошее, есть почин. Если и дальше так пойдет, и сегодня вернусь, как говорят охотники, с полем. День будет солнечный, ни ветерка, небо ясное, от реки приятная прохлада, лес на обоих берегах правильный: далеко ему до нашей сибирской тайги, не дремучая чащоба, но лес настоящий, дикий, не то что немецкие прилизанные, где каждое дерево пронумеровано – серьезно! – а кустарник под корень изведен. Благодать и лепота...

А потом благодать и лепота разом кончились. Потому что слева показался какой-то темный предмет, плывший по течению совсем неподалеку от берега, так что рукой достать можно. Вскоре он оказался совсем близко, я прекрасно рассмотрел, что это такое. И форменным образом рот разинул от удивления.

По речке плыл топор.

Самый настоящий топор, в натуральную величину, плыл лезвием к берегу, чуть отличался от наших, но именно таких топоров мы у чехов навидались изрядно, именно таким наш повар Гордеич и те, кого назначали в наряд, кололи дрова для полевой кухни. На вид – обыкновенный топор, только насквозь неправильный. Такому топору, упавшему в воду, полагалось камнем булькнуть на дно, а этот плыл себе как ни в чем не бывало, как пустая бутылка...

Я сидел и таращился на него как баран на новые ворота, а он подплывал все ближе и ближе. Опомился я немного и, когда он оказался совсем рядом, схватил топорище. Не нужно было лезть в воду, достаточно встать на коленки у берега и руку протянуть.

Выпрямился, держа его в руке. Весил он примерно столько, сколько и должен весить такой топор. Топорище – натуральное дерево, и лезвие, я потрогал, – обычная сталь. Лежал он в руке смиренхонько, как путному топору, предмету неодушевленному, и полагалось. Самый обыкновенный топор...

Но ведь он плыл!

Тут мне руку, в которой держал топор, словно электрическим током прошило, от пальцев к плечу. По-моему, это было чистой воды самовнушение от дикой невозможности происходящего. И я, не размахиваясь, бросил топор обратно в воду. Он шлепнулся, подняв брызги, на сей раз обухом к берегу, и преспокойно себе поплыл по течению дальше. А я стоял статуей и смотрел ему вслед, пока он не скрылся с глаз, и в голове была совершеннейшая пустота.

Тут меня форменным образом и затрясло от макушки до пяток – я так полагаю, запоздавшая реакция на эту небывальщину. Слабость во всем теле расплылась жуткая. До того я только в книгах читал, как лязгают зубами от страха, а теперь сам так зубами и лязгал, тупо таращась в ту сторону, куда уплыл топор. Которому никак не полагалось плавать...

Гораздо позже мне приходило в голову: пожалуй, я не испугался бы так, выплыви на меня водяной или русалка. Я не верю ни в водяных, ни в русалок, ни в прочих леших, но они, если можно так выразиться, – нечто привычное. Про них рассказывают которую сотню лет, примерно известно, чего от них ждать и как они себя ведут. Сплошные сказки, но все равно... А тут был самый обыкновенный бытовой предмет, топор, только плавучий. Вот про такое я в жизни не слыхивал и не читал в сказках в детстве. Оттого, что это был самый обыкновенный топор, только пливший, как топорам не полагается, как полено, и было страшно до жути...

В конце концов я не выдержал, не мог больше торчать столбом посреди солнечного утра, в тиши и безветрии. Может, оттого, что стояла не буря с грозой, а солнечная погода и теплое безветрие, и было на душе еще жутче. То ли сразу тогда мне так показалось, то ли потом так стало думать, уж и не знаю...

Немного опомнившись, когда перестал мерзко лязгать зубами и противная слабость во всем теле подрассосалась, подхватил я удочки и рыбу, прочие пожитки и пошел в расположение части, так сказать, отступил в совершеннейшем порядке. Чем дальше уходил от реки скорым шагом, тем спокойнее становилось на душе, все крепче казалось, что все это произошло не со мной, а с кем-то другим. Когда впереди показались наши танки и палатки, я уже полностью овладел собой, и то, что случилось на реке – а собственно, ничего и не случилось! – отодвинулось куда-то далеко-далеко...

Наши, конечно, удивились, что я вернулся так рано, всего с двумя рыбинами. Я сказал: нездоровится что-то. Действительно, час-два пролежал у себя в палатке, размышлял над загадочным случаем – и ничего не мог придумать, внятного объяснения не находилось, никогда прежде ни о чем подобном не слышал и не читал. Плавучий топор был штукой насквозь неправильной, но ведь он мне не почудился, я прекрасно помнил его тяжесть в руке...

Мы там простояли еще месяца полтора. С неделю я на рыбалку не ходил, а потом перешибил себя, что ли. Взыграло нечто вроде оскорбленного самолюбия. Подумал: в бога душу мать, я не суеверная старушка и не трусишка зайка серенький, я боевой офицер! Отвоевал два с половиной года, два ордена, четыре медали, трижды горел в танке, и ни разу даже не обожгло, удавалось вовремя выбраться. И ради отличной рыбалки перестану ходить на речку только потому, что по ней проплыл загадочный топор?! От которого мне не случилось никакого вреда? Нет уж, стыдно будет отступить...

И не отступил. Все время, что мы там стояли, ходил на долгую рыбалку. И больше не случилось ничего невероятного. А потом наша часть попала под массовую послевоенную демобилизацию. Чему я был только рад – я не кадровый военный, на гражданке закончил два курса инженерно-строительного института, туда и хотел вернуться. И вернулся, закончил, до пенсии проработал по специальности. Есть кое-какие трудовые награды, в том числе знак за строительство железной дороги Абакан – Тайшет – там мы с вашим отцом и познакомились. Но это уже неинтересно, больше ни разу за всю мою гражданскую долгую жизнь не пришлось столкнуться ни с чем необычайным. О чем я ну нисколько не сожалею...

До того, как я рассказал эту историю вашему отцу, рассказывал ее только раз, на двадцатилетие Победы, когда встретился впервые после сорок пятого с Сёмой Лапшиным, что был у меня когда-то механиком-водителем. Посидели, выпили, потолковали о том, что в войну бывало, вот и пришлось к слову.

Сёма слушал очень внимательно. В отличие от меня, он, подобно вашему отцу, как раз верил во всевозможных леших, домовых, русалок и прочую нечистую силу. Это я городской, а он родился в маленькой деревне, в таежной глухомани, там и прожил до самого призыва.

Этакий классический чалдон. Потом-то осел в Томске, там и пед закончил, всю жизнь учителем проработал, до директора школы дослужился, там и женился...

Так вот, в деревне с ним самим что-то такое случилось, из разряда того самого, необыкновенного. Деталей он никогда не рассказывал, да мы и не настаивали. Только пару раз, когда заходил разговор о всяком необычном и о том, стоит ли в него верить, говорил, что лично он, безусловно, верит, ухмылялся этак загадочно и говорил одно: «Всякое бывало. Такое, что хочешь не хочешь, а поверишь...» И никакой конкретики. Ну, мы не приставали: не хочет человек рассказывать, нечего клещами тянуть. Может быть, думал, что мы не поверим, вышучивать начнем... и вы знаете, не без оснований боялся, тогда я бы взялся именно что вышучивать, до конца войны и моей рыбалки оставалось еще изрядно времени...

Как я и думал, он выслушал очень внимательно, не задал ни одного вопроса, когда я закончил. Вмазали еще по стопарю, Сёма задумчиво выкурил «беломорину» и серьезно так сказал:

– То-то ты пару дней ходил как в воду опущенный. А оно вот что оказалось... Ишь ты, кремь, так ничего и не рассказал...

– Что думаешь? – спросил я напрямик. – Случалось с тобой что-нибудь похожее?

– Такого, чтобы топоры плавали, не случилось, – сказал он. – А вот кое-что другое бывало. Почему я во все это и верю. И объяснение само собой подворачивается одно... Это над тобой подшутил какой-нибудь местный леший. Места там такие, что запросто могли лешие водиться. Они это дело любят: ничего душевредного не сделают, а вот напугать могут затейливо, такая уж у них шкодливая натура. Ты там ничего такого не слышал? Я вот – нет, так это ж ни о чем еще не говорит...

Я старательно припомнил. А ведь слышал! Доводилось. Однажды знакомый по пивной чех рассказывал: старики верят, что в тех местах обитает какой-то проказливый горный дух. Особого вреда людям от него нет, но над одиноким человеком, если попадетсЯ вдалеке от жилья, подшутить может весьма даже затейливо. Так, что у человека потом долго поджилки трясутся, но вреда, как я говорил, никакого не бывает. Чех об этом рассказал мимолетно, вскользь, без особой связи с тогдашним нашим разговором, мы этим ничуть не заинтересовались и подробностей не стали доискиваться.

Услышав от меня про этого чеха, Сёма улыбнулся этак удовлетворенно и сказал:

– Ну вот видишь, всё сходится...

Больше мы об этом не говорили, откупорили вторую бутылочку и переключились на фронтовые воспоминания, благо вспомнить было что, и тяжелое, и хорошее, и даже смешное – оно тоже на войне случается, хоть и очень редко...

В нечистую силу я не верю по-прежнему. Но подумываешь иногда: а может, она все-таки есть? И надо мной затейливо подшутил какой-то чешский лесной черт?

Как ни крути, а другого мало-мальски убедительного объяснения попросту нет...

Степной ужас

Было это в самом начале сентября сорок второго года, в степях примерно на полпути между Сталинградом и Астраханью. Можно показать приблизительно место на карте, но вряд ли в этом есть необходимость, согласны? Ну вот...

Обстановка на нашем фронте сложилась тяжелейшая, немцы прорвались к Сталинграду, и там начались ожесточенные уличные бои. Тогда никто не знал, удастся ли немцам переправиться на другой берег Волги, не станут ли они развивать наступление дальше, к устью Волги и Астрахани. В июле как раз вышел знаменитый приказ Ставки номер двести двадцать семь: «Ни шагу назад!» Что бы там потом про него ни талдычили во времена хрущевской оттепели, не к ночи будь помянута, а он сыграл огромную роль в том, что наши перестали сплошь и рядом отступать без всякой необходимости. Так и в армии тогда же говорили без всякого принуждения со стороны «злых особистов и комиссаров». Уж я-то знаю, я сам бывший особист, а потом и смершевец...

Так вот, я тогда служил в особом отделе дивизии. Занимался в основном специфическими вещами. В тесном взаимодействии с войсками НКВД и их соответствующими органами занимались главным образом басмачеством. Ну да, басмачи – сугубо в Средней Азии. Но очень уж удачное было словечко, мы его меж собой широко использовали. Неофициально, конечно. В документах использовали совсем другие термины: «вражеские пособники» и «бандформирования». А про сути это было самое натуральное басмачество. Абвер прямо-таки в массовом порядке сбрасывал на парашютах агентуру, и немцев, и ссучившихся местных, и они со всем усердием пытались организовать банды, как правило, конные – другим в степях нечего и делать. Мало-мальски широкомасштабное движение им так и не удалось наладить, но там и сям банды все же появлялись. Мы делали все, что могли, но перехватить при приземлении всех абсолютно парашютистов и грузы с оружием, боеприпасами и взрывчаткой было бы нереально.

В тот раз мы втроем, все командиры (слово «офицер» тогда еще не было введено в употребление), поехали на «козлике», вездеходе «ГАЗ-67», километров за восемьдесят от областного центра. Нужно было во всех деталях обсудить с местными товарищами, как в ближайшее время встретить очередную группу парашютистов. В подробности я вдаваться не буду. Вряд ли они и посейчас секретные. Просто... Стандартная история, не раз в романах писали и в кино показывали. Перевербованные немецкие агенты, радиоигра... Ну, конечно, как всегда, до последнего момента было неизвестно, правду ли нам рассказали допрашиваемые о сигнальных кострах, времени и месте высадки, или – не пронюхали ли немцы, что их агенты запоролись. Иногда самолеты не прилетали, а иногда на сигнальные костры вместо парашютистов или грузов и бомбы сыпались. По-всякому оборачивалось, хотя большей частью игра получалась в нашу пользу, но никогда нельзя было сказать заранее...

Обговорили все вдумчиво и обстоятельно, выехали назад в расположение части, в тот областной центр. Где-то на середине пути с нами и случилась крупная неприятность...

Из-под капота вдруг поползла струйка буроватого дыма. Мотор работал исправно, скорость была прежняя, но дым быстро густел, валил все гуще, так что машина очень быстро стала похожа на подбитый самолет. Прошла какая-то минута – и стало ясно, что дальше так ехать никак нельзя. Витя Махов затормозил, выдернул ключ из зажигания – а мотор по-прежнему молотит, дым гуще. Тут уж все стало ясно: я водил машину и автомобильные моторы знал неплохо. Так что крикнул:

– Стартер замкнуло, точно!

– Сам вижу... – сквозь зубы отозвался Витя, и мы кинулись поднимать капот.

И точно, стартер полыхал вовсю. Витя сорвал провода с аккумулятора, и мотор заглох. Я сшибал огонь куском брезента и довольно быстро с ним разделался. Коломийцу работы не

нашлось, и он суеился возле нас, чтобы не стоять столбом, подавал какие-то советы, абсолютно бесполезные. Справились. Провода загореться не успели, пламя в движок не пошло, но все равно мы бесповоротно перешли в пехоту. И ржаветь тут машине до скончания века – никто не будет ее отсюда вытаскивать, не бог весть какая ценность...

Вот так и остались мы на своих двоих посреди необозримой степи. Вечерело. Тишина стояла такая, что аж в ушах звенело. Обсудили кратенько свое положение – уж никак не безвыходное и отнюдь не трагическое. И даже не тяжелое. Собственно говоря, ничего страшного. От областного центра, куда мы возвращались, было всего-то километров сорок. Карта и компас у нас имелись, ориентироваться на местности умели. Не стоило тащиться по темени, заночуем здесь, а с рассветом тронемся. Должны добраться к своим еще до темноты. А если объявится какая банда... У меня был только пистолет, а у Вити с Коломийцем еще и автоматы ППД, «дегтяревы», первый образец, поступивший на вооружение до того, как большой серией пошел ППШ. И по запасному диску. Ну и по гранате у каждого. Так что еще посмотрим, какой будет расклад...

Даже ужин получился. Не особенно роскошный, у нас была банка тушенки, пачка галет и кусковой сахар в тряпочке, но все же заморили червячка. Жалко, не было чайника. Рядом были заросли прошлогоднего сухого кустарника, но огонь мы решили не разводить – костер в степи видно далеко, могли пожаловать непрошенные гости...

Стемнело. Как всегда бывает вдали от больших городов, небо было усыпано крупными звездами, полная луна стояла высоко, так что светло, хоть иголки собирай. Мы покурили и, почти не разговаривая, сидели в машине, добросовестно пытаюсь дремать. Удобнее всех расположился Витя Махов – ему досталось все заднее сиденье, так что он мог полулежать. Стояла тишина, только покрикивала вдалеке какая-то ночная птица, и не верилось даже, что где-то есть города, железные дороги и прочая цивилизация.

Тишина стояла... Даже птица больше не кричала. И тут посреди этой покойной тишины неподалеку послышались новые звуки – странные какие-то, ничуть не похожие на обычные степные: словно совсем близко волокли что-то невероятно тяжелое. А потом послышалось шипение, словно из чайника рвалась струя перегретого пара – вот только издававший такие звуки чайник должен быть великанских размеров. Так мощно шипят паром паровозы – но откуда здесь, в дикой степи, взяться паровозу? Тут, может, еще сто лет рельсы не проложат...

Шипенье повторилось – такое же громкое.

– Слышал? – чуть ли не шепотом спросил Витька Махов.

– Слышал, – ответил я тоже почему-то чуть ли не шепотом.

– Что за хрень?

– Непонятное что-то, – сказал Коломиец. – Это не волки и уж точно не люди...

Тут на меня... накатило, что ли, нахлынуло. В самом деле, обрушились, как волна, захлестнули с головы до пяток чувства и ощущения, каким на человеческом языке и слов-то не подберешь. Нечто вроде тоскливого ужаса перед чем-то непонятным, исполинским, грозным, осознание своего полного и законченного ничтожества. Ничтожности перед неведомой злой силой, полной беспомощности, беззащитности перед опасностью, с которой в жизни не сталкивался...

Меня словно парализовало всего, не мог шевельнуть и пальцем. Подумал, что надо бы расстегнуть кобуру – что бы там ни было, оно живое, оно приближается. Но не мог протянуть руку, как сидел, привалившись спиной к колесу, так и остался сидеть. И все явственнее был шелест раздвигаемой травы, уже совсем близко – травы там были буйные, в рост человека, а кое-где могли и с головой укрыть всадника...

Шелест и шипение раздались совсем рядом. И все тот же звук – словно волокли что-то неимоверно тяжелое, а потом...

В жизни не видел такого ужаса, а ведь на войне чего только не навидался...

Я прекрасно видел в лунном свете этот ужас. Метрах в пяти от меня поднялась из травы змеиная голова, а за ней и тело. Только голова была побольше лошадиной, а туловище толщиной с телеграфный столб, не меньше!

Змеища испустила короткое могучее шипенье, ее глазищи – выпуклые, огромные, с вертикальным зрачком – светились тусклым зеленоватым, гнилушечьим светом. Казалось, она тарашится прямо на меня, заглядывает в самую душу. Да сколько там осталось этой души! Не душа, а душонка, как свернутая в комок тряпка, подавленная этим паническим ужасом, злой волей этой невероятной гадины. Все было наяву, и я оцепенел от ужаса, не в силах шевельнуться, не в силах дослать пистолет. Понимал, что мне приходит конец, но не мог ничего поделать...

И тогда совсем рядом длинно застрочил автомат. В тишине выстрелы казались оглушительными, как артиллерийские залпы. Очередь казалась бесконечной, и я видел, как пули разносят змеиную башку, как задергалось ее тело. Змеища грянулась оземь совсем рядом со мной, в какой-то паре метров, тяжелое тело билось, выгибалось, конвульсивно елозило по земле, колыша траву на значительном протяжении...

Потом из-за машины, рыча что-то нечленораздельно-матерное, выскочил Витька Махов и подбежал совсем близко, стреляя и стреляя в то, что осталось от змеиной головы. Патроны в диске кончились, щелкнул затвор. Тогда только я почувствовал, как с меня словно сползло оцепенение, встал (кажется, пошатывало), ощупью нашел застежку, вытащил пистолет, показавшийся невероятно тяжелым. Что было бессмысленно – сразу ясно, что со змеюгой покончено.

Витька еще стгоряча давил на спуск, но опомнился, опустил автомат. Змеища все еще билась, в точности как пропоротая вилами гадюка, но все слабее. Коломиец, тоже с пистолетом в руке, сделал маленький шажок вперед, выдохнул:

– Мать твою, что за тварь...

Под искромсанной пулями головой быстро натекала темная лужа, пахнувшая остро, незнакомо. Только сейчас меня стала бить крупная дрожь и появилось ясное осознание происшедшего. Такого не могло быть, но оно только что случилось...

Мысли путались, все еще колотила затухающая дрожь, но я довольно быстро превозмог себя – всякого навидался на войне. Ну, змеища, ну, громадная – но я видывал виды и почище. В конце-то концов, прикончить ее оказалось очень легко, и никого она не успела сожрать. А в том, что она хотела нас сожрать, я не сомневался – такой уж у нее был вид, мы для нее были не более чем добыча. Змеи травкой не питаются. Читал я кое-что к тому времени про южноамериканских анаконд и про удавов тоже... Такая же анаконда, только, надо полагать, сухопутная. Схарчить хотела, тварь, понятия не имея об автоматах и оружейнике Дегтяреве, дай ему бог здоровья...

Постепенно отпускало, и, пряча пистолет в кобуру, я с радостью отметил, что пальцы уже нисколько не дрожат. Коломиец, я видел, тоже уже оправился. Витя сменил диск. У наших ног всё шире расплзалась остро пахнувшая лужа змеиной крови, и мы отступили на пару шагов.

Змеиное туловище уже почти не билось, над ним медленно смыкалась примятая трава.

– Рассказать кому – не поверят, – чуть хриловатым голосом сказал Коломиец. – Три недели здесь живу, сколько по степи мотался, а о таком чудище не слышал. Заглотнула бы, как я – пельмень...

Обменялись впечатлениями, и выяснилось: все слышали шипение и звук, словно волочили по земле что-то тяжелое. Все трое испытали схожие чувства – вот только у Витьки Махова всё было выражено гораздо слабее, и он этого странного паралича избежал, почему и выхватил из машины автомат, открыл пальбу.

– Это ж она нас гипнотизировала, падла, – сказал он. – Как кобра птичку, я где-то читал...

– А на тебя, значит, гипноз не подействовал? – хмыкнул Коломиец.

– А на меня никакая зараза не действует, – уже обычным своим беззаботным тоном отозвался Витька. – Разве что водка... Сейчас бы хряпнуть наркомовские, да нету... Что делать будем, мужики? Может, в путь-дорогу? Неохота что-то коротать время до рассвета рядом с этой тварью...

– А если поблизости еще одна такая охотится?

– Вряд ли, – подумав, сказал я. – Змеи стаями не ходят и парами не живут, в одиночку норуют. А это все ж таки змея, хоть и громадная...

– Ну так что будем делать, старшой?

Я еще подумал и сказал:

– Остаемся здесь до рассвета, а с рассветом выходим. Не стоит ночью по степи шляться. Хорошо – волки, а если банда? Змеюка все равно не укусит, она мертвей мертвого...

Так и получилось, остаток ночи мы провели у машины. Не очень приятно было торчать рядом с мертвой змеищей, из которой натекла большая лужа крови, достигшая машины, так что пришлось перебраться на несколько метров. Но это неприятность из тех, что можно легко пережить, – мертвые не кусаются. Подремать, правда, не удалось, едва клонило в сон, навязчиво представлялась змеюга, только живая, с оскаленной пастью.

А едва небо посерело и исчезли звезды, тронулись в путь. Шли быстрым шагом, хотелось побыстрее убраться от того места, только раз ненадолго устроили привал-перекур. И часам к пяти вечера вышли к областному центру. Почему не взяли ни зубов, ни куска шкуры? Вы знаете, даже мысли такой не возникло, мы как-никак не были учеными, у нас имелись совершенно другие побуждения: в первую очередь думали о своей службе, о нашем задании. Шла война, и в первую очередь все мысли были о ней... Да и откуда ученые в нашем областном центре, маленьком городишке? А посылать сообщение в Москву... Вряд ли кто-то из начальства стал бы этим заниматься – не та сложилась обстановка, было не до того, ох, не до того...

Первым делом мы, конечно, отправились к непосредственному начальнику, майору Мелешкину. Доложили по всем правилам о результатах поездки. Ну а в конце рассказали о змеюге.

Мелешкин покурил, подумал и сказал:

– Да ну ее к чертовой матери, вашу змеюгу. Не до нее сейчас, не о том надо думать. Своих дел выше головы, обстановка на фронте сами знаете какая, да и немцы вот-вот прилетят, нужно встречать без хлеба и соли, но со всем прилежанием. Будет свободное время, поговорите с Эрдашевым, что-то он такое вскользь упоминал...

Машина так и осталась в степи – Мелешкин при нас позвонил в автобатальон, но оттуда ответили, что положение с запчастями у них аховое и запасных стартеров нет вообще. Составили акт о списании, на том дело и закончилось.

Дела нас завертели до ночи – всю готовились принять немцев (и забегая вперед – приняли в лучшем виде, повязали их быстро и качественно, так, что рыпнуться не успели). Ну а на следующий вечер, когда свободная минутка все же выдалась, путем солдатской смекалки раздобыли бутылку водки и пошли втроем к старшему лейтенанту Эрдашеву. Он был местный, более того – родом из этих самых мест.

Выслушал он нас без всякого удивления. И рассказал под водочку, как обстоят дела с нашей змеюгой. Змей этот, сухопутная анаконда, местному населению знаком с незапамятных времен и зовется Аждахар. Никакое это не сказочное чудовище, по небу не летает, человеком не оборачивается, красавиц, в отличие от нашего Змея Горыныча, не крадет. Разве что способен воздействовать на человека чем-то вроде гипноза, но и это не сказочное, а вполне житейское обстоятельство – известно же, я сам говорил, что читал про такое, – кобры могут гипнотизировать птичек, и ничего сказочного в этом нет. Самая обычная змея, разве что громадная. Старики рассказывают, в стародавние времена, сотни лет назад, их попадалось много.

Нападали не только на скот, но и на людей, явно считая их такой же добычей. Такой змеюге ничего не стоит заглотнуть и быка, и чело-века.

Тогда же, в старинные времена, местные богатыри не раз ездили на них охотиться. Многим не везло, но рассказывают, что не так уж редко богатырь возвращался с ожерельем из зубов Аждахара и большим куском кожи, из которой делал чепрак под седло. Понятно, такие богатыри-змееборцы до конца жизни пользовались почетом и уважением, о них складывали песни, переходившие от поколения к поколению. Когда появилось и усовершенствовалось огнестрельное оружие, убивать Аждахара удавалось гораздо легче, и тех, кому это удавалось, уже не прославляли так, как стародавних богатырей, хотя уважением они, конечно, пользовались. Пастухи, охотники, табунщики и караванщики рассказывали, что Аждахар в последние сто лет попадаетея крайне редко, хотя и встречается порой в самых не обитаемых человеком местах.

Почему об этом змее не знают ученые? Потому что ученые в этих местах бывали редко, а те, что бывали, относились к рассказам об Аждахаре как к сказкам. Ни разу не удавалось предъявить им убедительные доказательства в виде тех же зубов или шкур – со временем традиция брать трофеи как-то исчезла, да и богатыри, специально выходившие против змея, перестали появляться. А у простого степного народа нет такой привычки – идти к ученым с доказательствами. Люди они простые, на жизнь смотрят очень практично, у них своих житейских забот хватает. Да многие и представления не имеют, что такое Академия наук. Живут во многом так, как их предки жили сотни лет назад. А образованная трудами советской власти молодежь... Она как раз смотрит на рассказы об Аждахаре как на простые сказки, многие из них в степи практически не бывают, оторвались немного, так сказать, от корней. Так что в Аждахара просто не верят.

Эрдашев рассказал еще: лет за десять до революции его дядя застрелил Аждахара из винтовки, но не в этих местах, а чуть севернее, где много озер. И что? Он был не ученым, а обыкновенным табунщиком, вообще не слышавшим, что есть такие люди – ученые. И своих забот у него хватало выше головы, нужно было перегонять табуны на новые пастбища, кобылы жеребились. Выломал, правда, на память клык, но потом то ли потерял, то ли дети заиграли. Уже тогда ему многие не верили – и простые степняки, необразованные, считали, что Аждахар – сказка. Сам Эрдашев так не считал – особенно после того, что мы рассказали...

И что? Да ничего. Пошли воевать дальше. Историю эту я рассказывал редко, всякий раз вдалеке от тех мест. И мне никогда почти не верили, так что и рассказывать перестал.

По-моему, зря не верили. Потом уже, лет через двадцать после войны, прочитал я парочку книг о разных неизвестных животных. В некоторых тоже очень долго не верили, а потом они попадались ученым или охотникам. Так вот, в одной книге написано: давным-давно, с тысячу лет назад, почти в этих самых местах, на Волге, побывал арабский путешественник. Ему многие рассказывали и о гигантской змее, что тут водится, и о богатырях, которые ездили с ней драться. Араб вроде бы был человеком серьезным и байки в свою книгу не собирал...

А собственно, что в этом Аждахаре необычного? Всего-навсего змея, только очень большая и жила не в тропиках, а в степи. Пропитания ей хватило бы: там пасутся отары овец, табуны лошадей. Такая зверюга может спокойно и лошадь одолеть. А севернее, на озерах, очень много птиц – весной прилетают с юга вить гнезда и нагуливают жирок для зимних перелетов. К тому же все эти удавы-анаконды, как о них пишут, могут очень долго не есть: набьют брюхо и долго переваривают добычу... Зимует он, надо полагать, зарывшись в землю, как делают обыкновенные змеи «нормальных» размеров. И что они помаленьку исчезли – ничего удивительного. Огнестрельное оружие – вещь серьезная, это вам не сабля и не лук со стрелами. И далеко не все люди их гипнозу поддаются, взять хотя бы Витьку Махова. Вспоминали мы потом эту историю – так вот Витька, в отличие от нас, ничего такого не почувствовал. Потому и смог, пока мы сидели будто парализованные, Аждахара пристрелить. Так наверняка их со временем и повыбили. Может быть, Витька вообще убил последнего. Ну вот не взяли мы зубов и шкуры

кусок не срезали. Что поделать, тогда мы об этом совершенно не думали. Шла война, и все мысли были о ней...

Что еще? Я не сомневаюсь, что мертвую змеюгу растащило по кусочкам зверье. У степных волков повадки известные: не то что сожрут все, что мясом пахнет, – кости зубами в муку перетрут и проглотят. Так что не осталось никакого скелета, на который бы потом могли случайно наткнуться люди. Они и раньше не натывались: об Аждахаре рассказывают с незапамятных времен, а вот рассказов о «костях дракона» нет вообще. По крайней мере, Эрдашев ни о чем подобном не упоминал.

И знаете что? Я с большим уважением отношусь к тем стародавним богатырям, что ездили драться со змеями. Если подумать, нет ничего героического в том, чтобы разнести Аждахару башку в клочки одной очередью на весь диск, оружейная техника двадцатого века... А вот выйти на такую змеищу с копьём и сабелькой – совсем другое дело. Нешуточную храбрость надо иметь. Уважаю...

Красивая песня

Было это в марте сорок пятого в Германии. Я тогда служил радистом и сидел на особом задании: был на связи с нашей разведгруппой, ушедшей к немцам в глубокий поиск. Чем конкретно они занимались, мне, понятное дело, знать не полагалось, только в штабе дивизии (намекали, и выше) поиску этому придавали большое значение. Майор Гуляев, начальник разведки дивизии, из моей палатки, можно сказать, не вылезал. И всякий раз после очередного сеанса связи ненадолго уходил – явно докладывать наверх. И если разведчики выходили на связь с задержкой, очень переживал.

Вот и в тот раз приключилась задержка. Долгая, минут на двадцать. Первый раз с этой группой было такое. А означать это могло что угодно, от самого безобидного (ищут подходящее для передачи место) до самого скверного (попались немцам). Гуляев места себе не находил, сто раз промерил палатку шагами вдоль и поперек (большая была палатка, грузовик поместится, но я там размещался один, как фон-барон). Конечно, ввиду особой секретности и важности операции. Разведчики передавали сообщения не открытым текстом, а кодовыми словами и цифрами, которые понимал один Гуляев, но все равно, если уж берутся соблюдать секретность, порой до некоторого абсурда ее доводят.

За эти двадцать минут он извел чуть ли не пачку папирос, хоть топор вешай. Два раза срывался, рывкал на меня, что это я, косорукий, не сумел установить связь, раз даже заорал, что загонит меня в штрафную роту за такие художества.

Насчет штрафной роты он, конечно, перегнул. Я на него в глубине души нисколько не обижался: понимал, что это все у него от злого бессилия. Два раза он выходил и каждый раз возвращался еще более злющий – такое впечатление, что и на него орало по телефону начальство (в таких случаях начнут орать сверху донизу – мама, не горюй! А кто в самом низу? Я, кому ж еще, вот все шишки на меня и валятся, а мне их свалить совершенно не на кого...)

Понемногу его злое бессилие передалось и мне – так бывает. Места себе не находил, но мне полагалось сидеть в наушниках как пришитому, так что и неизвестно, кто себя паскуднее чувствовал, майор или я. Он по крайней мере мог ходить, почти бегать по палатке, материться вполголоса и дымить без передышки, а я себе такой роскоши позволить не мог...

Делал все, что мог: старательно держал волну их рации, иногда вызывал (безуспешно), иногда шарил правее-левее, на соседних диапазонах (без толку).

Тут оно все и случилось...

Наступила полная тишина в эфире. Хотя нет, я неточно выразился. Полной тишины в эфире не бывает. Всегда идет треск, разве что порой потише, порой погромче. Треск, шуршание, чьи-то разговоры на пределе слышимости... А сейчас впервые на моей памяти (да и потом такого не случалось) в эфире настала полная и абсолютная тишина. Только что он был изрядно забит нашими и немецкими разговорами – и вдруг все они пропали, обрушилась тишина, ни шорохов, ни треска. Словно питание обрубил, но зеленая лампочка горела как ни в чем не бывало, все с питанием было в порядке. Повертел я ручку вправо-влево, уже размашисто, прошелся по всей шкале – и везде было то же самое. Чертовщина какая-то...

Должно быть, лицо у меня стало... мало сказать удивленное – ошарашенное. Наверно, я был на себя не похож – Гуляев одним прыжком оказался рядом, спросил почему-то шепотом: – Что?!

Я молча снял наушники и протянул ему. Когда он прижал один к уху, прошелся по шкале вместо объяснений, чтобы сам послушал. Он послушал. И я понял, глядя на его ошарашенное лицо, как я сам сейчас выгляжу – да точно так же, тут и думать нечего.

– Эт-то что такое... – произнес он в пространство, адресуясь вовсе даже не ко мне. Но я все же сказал:

– Не могу знать...

А что я еще мог сказать? Гуляев машинально протянул мне наушники, я так же машинально их надел. И тут какие-то звуки все же раздались на фоне этой непонятной тишины. Больше всего это походило на безмятежный плеск морской волны о берег (был я раз в Ялте, в точности с таким звуком в ясный солнечный день волны набегали на берег...).

Снова я прошелся по всей шкале, и везде было то же самое. Снова Гуляев взял у меня наушники, показал жестом, чтобы я покрутил верньер – и снова лицо у него стало изумленное до крайности. Сказал словно бы с ноткой беспомощности:

– Ну, сделай что-нибудь...

– Что? – спросил я так же беспомощно и для наглядности как следует крутанул верньер. – Везде та же хрень, куда ни ткнешь...

В глазах у него стоял ужас, слепой, нерассуждающий. Если выразиться высокопарно, в них отражалось наше ближайшее будущее. Очень даже незавидное...

В ту пору самое страшное для связиста преступление формулировалось кратко: «Не смог установить связь». Все равно, шла ли речь о рации или проводной связи. В лучшем случае – штрафная, а в худшем... Сами понимаете. В любом случае – трибунал. А то и без трибунала. Как доносило всезнающее «солдатское радио», маршал Жуков не раз отправлял связистов под расстрел без всяких трибуналов, своей волей, а нашим фронтом командовал как раз Жуков. Теперь уже никаких сомнений нет, что высокое начальство придает этому разведпоиску огромное значение, и если установить связь с разведчиками так и не удастся, идти мне при самом лучшем раскладе под трибунал. И Гуляеву тоже. Он, конечно, не связист, но он здесь – старший начальник. Я не смог установить, а он не смог обеспечить, следовательно, пойдет «прицепом». Никаких материальных доказательств наших объяснений не будет, им просто неоткуда взяться. Загадочный шум в наушниках на всех диапазонах к делу не подошьешь. Какая разница, штрафной батальон или штрафная рота? Долго все равно не живут. Суровое было времечко...

Гуляев плюхнулся на брезентовый раскладной стульчик рядом с моим, прижал к уху тыльной стороной второй наушник. Смотрел на меня с яростной надеждой. А я отвел глаза – что я мог сделать и чем помочь? Крутил верньер уже чисто машинально, но на всех диапазонах слышалось одно и то же – безмятежный плеск набегающих на берег морских волн. Именно эта безмятежность, совершенно мирные звуки и угнетали больше всего. Будь это какой-нибудь рев, визг, скрежет – пожалуй, было бы легче...

А потом зазвучала музыка – чистая, без помех, опять-таки безмятежно мирная, как будто и не было войны...

Странноватая была музыка, никогда прежде такой не слышал. Даже не мог определить, на каких инструментах играют. Безусловно, не джаз, не тогдашний эстрадный оркестр, не опера и уж никак не оперетта. Очень приятная, задорная мелодия, ни на что не похожая...

Потом вступил высокий, звонкий голос, то ли мальчишеский, то ли девчоночий, сразу и не определить, тем более пребывая в самых расстроенных чувствах. Красивая песня, хорошие слова – опять-таки безмятежные, мирные, никак не сочетавшиеся с гремевшей который год войной, словно ее к нам занесло из какого-то неизвестного далека, где все иначе, никакой войны нет и никого не убивают...

Уж не знаю, что думал Гуляев, на которого я все так же старался не смотреть. Сам я не думал ни о чем. Совершенно ни о чем. Разве что одно крутилось в голове, пока я сидел как истукан и слушал загадочную, ни на что прежде слышанное не похожую музыку: чему быть, того не миновать...

Кончилась песня. Мы все так же сидели в каком-то оцепенении, прижимали к уху наушники, он – левый, я – соответственно правый. И тут резко, без всякого перехода, словно занавес упал, хлынула в эфир прежняя разноголосица на русском и немецком, все шумы и треск,

каким полагалось быть. Ничего толком не соображая, не пытаясь понять, я форменным образом выхватил у Гуляева наушники, напялил их на голову, повел указатель на волну разведчиков. Очень быстро наткнулся на знакомое:

– Тополь, Тополь, я Сокол. Тополь, Тополь, я Сокол, отвечайте.

Есть связь!!! Голос Васи Алифференко был прекрасно слышен, звучал четко, хотя к нему, если можно так сказать, прижимался лающий немецкий говор.

Я чуть ли не заорал в ответ, что слышу хорошо, готов к приему. Схватил карандаш и блокнот, стал под диктовку Сокола записывать – как и в прошлые разы, что-то мне абсолютно непонятное, звучало это примерно так:

– Клен – шесть, два, двадцать два, Резеда – шесть, один, восемь-десять один, Кедр...

А иногда – несколько групп по пять цифр. Передача была не такая уж длинная, потом я, как полагалось, повторил старательно это мне непонятное. Дал подтверждение. Конец связи. Гуляев выхватил у меня блокнот, быстро прочитал, явно себя не помня от радости, ткнул меня кулаком в плечо и заорал прямо-таки восторженно, перемежая матом:

– Да ты знаешь, старшина! Да ты знаешь! Это ж! Это! – и вновь мать-перемать.

И почти выбежал из палатки. А я остался сидеть, отмякая от сумасшедшего напряжения, не снимая наушников, без всякой на то необходимости крутил верньер, но теперь вновь слушал самый обычный эфир, голоса наши и немецкие, то спокойные, то возбужденная скороговорка, которая на всех языках одинакова...

Рад был до ушей, что все обошлось, – вот и все мои тогдашние чувства. Только через неделю приключилась другая радость, совершенно неожиданная.

Так уж сложилось, что радистам наград достается гораздо меньше, чем кому-либо еще. С одной стороны, исправно выполняешь свои обязанности, с другой – пусть даже ты и способствовал чему-то серьезному, важному, твое дело как бы и сторона: сидел себе сиднем, бубнил в микрофон... Ничем особенным не рискуя. Те, кто под неприятельским огнем налаживают проводную связь на поле боя, рискуют не в пример сильнее, в первую очередь – жизнью. Им и награды, им и главный почет. Служил я третий год, и было у меня всего-то две медали, советская и польская. Ну, обижаться тут не на что и не на кого – так жизнь сложилась, тем, кто в окопах, на передке, в сто раз хуже приходится, а я даже ни разу и не ранен, немцев видел только пленными...

В этот раз все было иначе. Через неделю вызвали меня в штаб и вручили не что-нибудь – Славу третьей степени. Полковник, конечно, ничего не объяснял, похлопал по плечу и сказал: «Носи, старшина, заслужил...» Ну, воевал я не первый год и сообразил, что к чему: к бабке не ходи, разведка добыла что-то чертовски важное, и поиск был на контроле очень и очень высоко, очень может быть, на самом верху. Гуляев появился с Красной Звездой, командир разведчиков старший лейтенант Шрагин получил Красное Знамя, а все пятеро его ребят – тоже Славу той же степени. Всем сестрам по серьгам – они раздобыли, я поддерживал связь, Гуляев обеспечивал. В чем там было дело, я, понятно, так никогда и не узнал, да и не узнаю. Что-то очень серьезное, факт.

Да, тогда же, когда сеанс связи с разведчиками закончился, Гуляев, немного подумав, посоветовал мне историю с загадочным недолгим «вырубанием» связи на всех диапазонах и странной песней в рапорт начальству не включать. Рассуждал он резонно: меня, конечно, нельзя абсолютно ни в чем обвинить, но все равно, хоть и не поверят, будут таскать, как это у них заведено, мучить расспросами. Оно мне или ему надо? Его ведь тоже потянут. Посоветовал еще никому об этой истории не трепаться. Мог бы и не советовать, я и без него не стал бы болтать языком. Я и так не из трепачей, и потом, крепко сомневаюсь, что кто-то мне поверил бы. Ни разу не слышал от наших, я имею в виду от радистов, о каких-то странных историях с радиосвязью. Ни на войне, ни после, когда служил радистом в Главсевморпути. Подняли бы на смех, ославили фантазером, любителем заправлять арапа. Оно мне надо?

Не удержался, дважды рассказывал после войны – и корешам из Главсевморпути, и сокурснику, когда учился на радиоинженера. Кореша, как и следовало ожидать, посмеялись и посоветовали приберечь эту байку для девушек. Сокурсник был гораздо сдержаннее, но и он явно не поверил. Так что в третий раз рассказал вам, и то потому, что вы подробно рассказали о кое-каких материалах, что собрали.

Так вот, ударная концовочка. Такой она получилась без всякого моего желания, сорок лет и примерно неделю спустя...

Поехал я в гости к сыну. Он выставил бутылку коньяку, собрал закуску, и мы с ним хорошо сидели – а внуки мои, близнецы-второклассники, смотрели телевизор в большой комнате. Звук врубили не на полную, но все же довольно громко – правда, не настолько, чтобы это мешало нашему разговору о том о сем. Тогда, в марте восемьдесят пятого, как раз с огромным успехом шла «Гостья из будущего» – последняя, пятая серия. Я ее не смотрел, хотя телевизор, как и бывает с пенсионером без хобби, смотрел много. Посмотрел и первую серию «Гости» – минут пятнадцать, как только стало ясно, что это фантастика, переключился на другой канал. Видите ли... Никак нельзя сказать, что я не люблю фантастику – просто-напросто я к ней абсолютно равнодушен. Читаю и смотрю в первую очередь приключения, особенно военные. А фантастика – это совершенно не мое. У каждого свои вкусы, верно? Есть по этому поводу пошлая шуточка. Ну, мы с вами два мужика, женщин нет, так что можно. «У каждого свой вкус», – сказал индус, слезая с обезьяны.

Как я уже говорил, телевизор работал довольно громко, и весь звукоряд до нас доносился. Дело шло к концу: злодейских космических пиратов, как и положено в хорошем детском фильме, повязали, как ни пакостничали, главная героиня, я так понял, собралась возвращаться к себе в будущее, прощалась со всеми, с кем подружилась в нашем времени...

И тут меня как током ударило. Так и замер, стряхнув пепел с сигареты...

По телевизору играли ту самую музыку! Ту, что мы с Гуляевым слышали в Германии сорок лет назад! Совершенно ту же самую. Разве что теперь, сорок лет спустя, она уже не казалась какой-то диковинной – самая обычная современная эстрадная музыка, на современных инструментах, с которыми я давненько свылся.

А потом зазвучал высокий, чистый, звонкий голос – и снова непонятно, мальчишеский или девчоночий. Но и песня была та же самая!

Слышу голос из прекрасного далека,
голос утренний в серебряной росе,
слышу голос, и манящая дорога
кружит голову, как в детстве карусель...

Сам не знаю, что на меня накатило. Бросил сигарету в пепельницу, вскочил, вышел в большую комнату, встал в дверях. На экране шли титры под кружение красивых цветных узоров (у Севки телевизор был цветной, он у себя в КБ неплохо зарабатывал и как ведущий инженер, и как кандидат технических наук). Да, та самая песня.

Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко,
не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
От чистого истока в прекрасное далеко,
в прекрасное далеко я начинаю путь...

Севка вышел следом, встревожился чуточку: что случилось, батя, что ты вдруг так сорвался? Я ему показал рукой, мол, ничего страшного, помолчи. Дослушал песню и вернулся за стол. Взял себя в руки, объяснил: песня, мол, страшно понравилась, такое со мной бывает,

сам знаешь, нет у меня таких уж конкретных пристрастий, но иногда вдруг накроеет, как серпом по этим самым...

Севка, сразу видно, успокоился, с детских лет знал за мной такую привычку. Историю сорокалетней давности я ему не рассказал, знал, что не поверит, хоть вслух это и не выскажет. Он был весь в меня, такой же сугубый технарь, скептически относился ко всему, что имело какой-то оттенок... необычности, что ли. Вот именно, необычности. Многие технари придерживаются противоположных взглядов, но такие уж мы с ним уродились: нет в нашей жизни ничего Необычного и быть не должно.

А если оно все же случается... Гм... Вот вам мнение записного технаря: ни в какую мистику я не верил, не верю и никогда не поверю. Объяснение простое: то, что радиопередача с песней (ее потом часто исполняли по радио и по телевизору тоже) однажды провалилась, что ли, в прошлое – необъяснимый пока что природный феномен. Может, когда-нибудь наука его обнаружит и объяснит. А до тех пор это что-то вроде майского жука. Знаете, как с ним, паразитом таким, обстоит? Читал я в серьезном журнале, что наука пока что не в состоянии объяснить, как он летает. Ага, вот именно. По всем строгим законам серьезной науки аэродинамики майский жук летать не может, как не может, к примеру, табуретка. А он, стервец, как ни в чем не бывало, начхавши на аэродинамику, сколько ее ни есть.

Вот так и с моей песней. Ничего сверхъестественного – необъяснимый пока что природный феномен, вот и весь сказ...

Фея посреди пожарища

Случилось это в Бреслау во время боев за город – Вроцлавом он стал уже потом, когда после войны отошел к полякам и они вернули исконное название.

Вышло так, что мне, танкисту, пришлось в город идти на своих двоих, с пехотой. Почему? Потому что мы с моим башнером, сержантом Осипчуком, были назначены связными меж пехотой и танками. Танки через наше посредство координировали действия с пехотой, при надобности поддерживали ее огнем не хуже пушкарей. Неплохо было придумано. Честно признаться, не нашими придумано, а позаимствовано у немцев. У нас в первые годы войны ничего подобного, к великому сожалению, не было, а вот у них с самого начала в боевых порядках пехоты шли радисты для связи с танками, с авиацией, артиллерией. Очень полезная придумка, обеспечивает взаимодействие всех родов войск, отчего выходит большая польза. Ну, в конце-то концов, не вредно заимствовать и у врага что-то толковое, наоборот.

Честно говоря, мне это поручение нравилось гораздо больше, чем если бы пришлось ввязываться в уличные бои на танке. Конечно, может прилететь пуля или осколок, и все равно... Что мне вам объяснять? Вы ж рассказывали, как сами водили танк с закрытым люком механика-водителя. Сами должны понимать: танк в городе слепой, как крот. Оно и в чистом поле немногим лучше, но в городе особенно – опасность со всех сторон, и ты ее не видишь.

Почему так получилось? Да потому, что мой экипаж оказался «безлошадным». За день до того, во время боев под Бреслау, нам вlepили болванку в борт. Движок в капусту, но танк, что важно, не загорелся, мы все выскочили. В чем тут хитрушка? Да в том, что эти сказки, будто дизель не так пожароопасен, как бензиновый двигатель, пошли от технического невежества. Сами по себе бензин и солярка не вспыхивают – вспыхивают их пары. Если их в баке много, и танк на солярке полыхнет, как пучок соломы. А я залил полные баки, нас накрыло в самом начале атаки, так что проехали всего ничего, солярочных паров почти и не было, так что обошлось. Болванка обычно при попадании в борт оставляет аккуратную дыру, двигатель не так уж сложно заменить даже в полевых условиях... если только есть запасной. А у нас их как раз не было, тылы, как это иногда бывает, чуть приотстали. Вот мы и оказались безлошадными, нас и послали. Говоря по совести, достаточно было бы одного Осипчука, я там был сбоку припека, но так уж начальство распорядилось: мол, общее руководство должен осуществлять офицер, то бишь я. Никакого такого общего руководства от меня, в общем, и не требовалось, пехотные офицеры сказали бы одному Осипчуку, что ему следует передать, он бы и передал в лучшем виде. Но так уж распорядилось начальство, а приказы в армии, всем давно известно, не обсуждаются, пусть они, что уж там, порой бывают идиотские. А впрочем, тот приказ, что я получил, к идиотским, в общем, не относился. Перестраховка, что ли. Пожалуй, так...

Все мое «общее руководство» свелось к тому, что не Осипчук выбирал удобное место для передачи, а я. Ничего сложного или невыполнимого. Бывало посложнее и поопаснее. Двигались мы с сержантом, понятное дело, в арьергарде наступавшего подразделения – вот только в уличном бою нет ни передовой, ни тыла, прилететь может из любого окна, в том числе и в спину. В чистом поле так тоже бывает, но гораздо реже.

Ну вот... Вышло так, что мы, закончив очередную передачу, остались на неширокой улочке со старыми домами одни-одинешеньки. Пехотная рота резко рванула вперед, за угол, на улицу пошире, и в горячке боя кто-то из командиров, от кого это зависело, не заметил, что мы отстали, не оставил бойцов нам в прикрытие.

Что было отнюдь не смертельно. Я видел, что пехота ушла направо и вряд ли, судя по близкому треску очередей и разрывам гранат, ушла так уж далеко. Догнать мы их должны были быстро, особенно если припустить бегом. А на нашей улочке стояла тишина – пару кварталов до того места, где мы сейчас торчали, пехота прошла быстро, не встретив сопротивления.

Там всё кончилось до нас. Поодаль, левее, всю пылал трехэтажный дом с высокой стрельчатой крышей и какой-то вывеской готикой. Валялось у входа несколько немецких трупов, на них мы и внимания не обратили – насмотрелись на войну... Соседний двухэтажный дом, возле которого мы остановились, выглядел целехоньким, разве что добрая половина оконных стекол вылетела. А вот возле трехэтажного, сразу видно, были дела. По нему не раз прилетело из пушек – и, судя по отсутствию на булыжной мостовой снарядных гильз, били из танковых орудий. Горел он на совесть – из всех окон пламя, понемногу занимается и крыша. Никто, понятное дело, и не пытался его тушить – какие в условиях уличного боя пожарные? Кроме нас с Осипчуком, не было на улочке ни единой живой души...

Осипчук закинул рацию на спину, отошли мы от крыльца на пару шагов...

Тут по нам и хлестнула длинная очередь из автомата.

Я не успел ничего понять – булыжная мостовая словно вздыбилась вдруг и чувствительно приложила по лбу и левой скуле. Сознание я если и терял, то очень ненадолго, а скорее всего, и не терял – просто ошеломило на пару секунд, как после хорошей плюхи. Когда перед глазами перестали плясать искры, я быстренько опамятовался. Постарался побыстрее оценить ситуацию, в бою это необходимо.

Новых выстрелов не было. Потом уже, когда появилась возможность спокойно все обдумать, я пришел к единственно верному выводу: в доме напротив затаился один-единственный вражина. То ли немец, то ли власовец – в Бреслау было много власовцев. Но какая разница? Затаился, пересидел, увидел нас и по своей поганой сущности пустил очередь, потом смылся. А может, у него патроны кончились, тоже несущественно. Как бы там с ним ни обстояло, больше не стрелял – спасибо и на том...

Осипчук ничком лежал рядом, не шевелился. Похоже, его убило наповал – из-под головы уже расплылась лужа крови. Ну а со мной обстояло не лучшим образом: боли я не чувствовал, но, когда попытался встать, оказалось, ноги совершенно не слушаются, лежат как колоды, такое впечатление, что нижней половины тела вообще нет, хотя она, конечно, никуда не делась, извернувшись, я увидел, что ноги при мне и ран на них вроде не заметно, не болят, но повиноваться отказываются, хоть ты тресни...

И в теле боли не было, только в животе легонько пекло, будто проглотил что-то чертовски горячее. Уперся кулаками в брусчатку, кое-как перевернулся на спину, посмотрел на грудь и пузо – и как-то сразу понял при полном сознании и отсутствии всяких посторонних мыслей, что дела мои очень и очень хреновые...

Пять аккуратных дырочек россыпью по животу, сверху донизу. Причем крови практически нет. Аккуратные такие дырочки с опаленными краями, четко выделявшиеся на моей вылинявшей гимнастерке. Воевал я не первый год, видел и свои, и чужие раны, два раза лежал в госпитале, так что в ранениях разбирался. Сплошь и рядом отсутствие крови и боли в сто раз хуже наличия таковых. Подо мной не мокро – значит, пули не прошли навывлет, застряли в кишках, и началось внутреннее кровоизлияние, штука очень скверная. Причем очень похоже – по расположению дырок видно, – что одна, а то и парочка пуль угодили в позвоночник, почему я ног и не чувствую. А это уже совсем паскудно...

Лежу на спине и встать не могу, ниже пояса тела не чувствую. Ноги не шевелятся, может, и вправду похолодели, как у покойника, может, мне это только чудится, но какая разница, если дела крайне хреновые? На помощь в скором времени рассчитывать не приходится. Специфика городского боя. Это в чистом поле санитары идут в боевых порядках, следом за атакующими, а в городском бою, где все перемешалось, санитаров быстро не дожидаться, слишком их мало для городских улиц, да вдобавок бой разбился на множество стычек помельче. Впрочем, чуть полегче в этом плане пехоте, к ним-то санитары близко, а у танкистов все по-другому, долгонько приходится ждать санитаров, и не всем удастся дожидаться...

Одним словом, положение мое хуже некуда. Даже если санитары меня подберут до того, как меня окончательно добьет внутреннее кровоизлияние. Видывал я и раненых с пулями в позвоночнике. За редчайшими исключениями, всегда кончалось если не ампутацией ног, то полным и окончательным их параличом – тот самый хрен, который редьки не слаще. Такого люди боялись пуще, чем смерти...

И вы знаете, не было ни страха, ни горя – одна только невероятная обида на то, что все обернулось именно так. На то, что я валялся посреди улицы – орел фронтовой, бравый лейтенант-танкист, горел-не-сгорел, орден и четыре медали, двадцать четыре неполных годочка от роду. Мать с отцом живы, переживают за меня, младшая сестренка школу заканчивает, в консерваторию собирается, девушка ждет, часто пишет – и даже если я останусь в живых, как я к ней такой? Такая обида захлестнула, что волком быть хочется...

Вот так я и валялся на булыжине, будто сломанная кукла. Насколько мог определить, бой всюю громыхал не далее чем в полукилометре от меня. Я решил, что скоро, пока еще в сознании и дело не обернулось совсем скверно, туда поползу. Ползун из меня никудышный, но, может, и доберусь. Вдруг да на них вышли какие санитары? Не так уж редко случались такие чудеса. Не валяться же тут, пока окончательно не скрутит? Подышать, так с музыкой, то бишь отчаянно пытаюсь выжить, пусть и ползком... Страшно рвался выжить, пусть виды на будущее и весьма нерадостные...

Пить хотелось чертовски. На поясе у меня висела почти полнехонькая алюминиевая фляга, но я собрал в кулак всё, что осталось от силы воли – а кое-что осталось, – и к ней не тянулся. Прекрасно знал, что при ранении в живот пить хочется нестерпимо, но никак нельзя, для «животника» вода – все равно что яд. А жить хотелось отчаянно, и я держался, преодолевал сухость во рту и в глотке...

Тут оно всё и произошло. Быстро, в какой-то миг, без всяких световых и звуковых эффектов, не то что в кино. Хлоп! – и окружающий мир изменился невероятно, стал совершенно другим...

Не было ни замощенной булыжником улочки, ни горящего дома, вообще не стало города Бреслау. Какое-то совершенно другое место. Я лежал в высокой, этак по колено, мягкой траве, летней, ярко-зеленой, сочной. Над Бреслау небо было хмурым, а тут – ясным, голубым, безоблачным, безмятежным таким...

Никаких мыслей, а уж тем более догадок и в голову не приходило. Просто-напросто я был уверен, что это мне не чудится, что это не предсмертный бред, не видения затухающего мозга. Голова вполне даже ясная, сознание не мутится, и все чувства в норме, я ощущал всем телом абсолютно реальную, мягкую траву, вдыхал ее умиротворяющий, какой-то очень мирный запах, слышал, как совсем недалеко словно бы шелестит под легоньким ветерком листва. Но ведь такому не полагалось быть! И тем не менее так и было...

Приподнялся на локте – что далось легко, – огляделся. Снова никаких признаков, что сознание мутится, со зрением все в порядке, прочие чувства в норме. Но окружающее! И вправду, какое-то другое место... Опушка довольно густого леса, обширная поляна, на которой островками растут совершенно незнакомые, но очень красивые цветы, красные, синие и желтые, пахнут опять-таки незнакомо, но прямо-таки одуряюще. А ведь цветам полагалось бы давным-давно отцвести, а траве – пожухнуть и высохнуть. Здесь – где?! – очень похоже, всё еще лето...

До деревьев совсем недалеко, метров двадцать. И деревья совершенно незнакомые, никогда таких раньше не видел. Меж деревьями – буйная невысокая трава и незнакомый кустарник, ничего похожего на те немецкие леса, что приходилось видеть, у немцев леса совсем другие – и деревья другие, и сами леса выглядят иначе. В некоторых деревья, представьте себе, пронумерованные, часто и трава, и кустарник старательно изничтожены почти целиком. Совершенно другой лес, такое впечатление, что это какие-то дикие места, где люди либо вообще не бывают,

либо ничего не «окультуривают». Неоткуда в той части Германии, которую я прошел, взяться такому лесу...

Тут я заметил левее, между деревьями, какое-то движение, что-то белое – ага, женщина в длинном белом платье, чуть постояла и пошла ко мне неторопливо, целеустремленно, безбоязненно...

Накатила слабость, чего следовало ожидать, рука уже не держала, локоть словно бы поскользнулся на льду, и я рухнул навзничь в пахучую траву. Попытался вновь приподняться – не получилось. В животе пекло всё сильнее, словно крутого кипятку наглотался, в голове уже легонько мутилось, но явственно слышал, как тихонько, все ближе шуршит трава под подолом платья – я успел заметить, что белое платье на ней длинное, до земли...

Очень быстро она оказалась рядом, гибко опустилась на колени, разглядывала с явным любопытством. А я таращился на нее во все глаза. Поразительно просто, как много человек успевает заметить за считанные секунды...

Описать ее очень легко, я ее помнил навсегда, она и сейчас перед глазами, совершенно такая, как тогда. Пожалуй, не женщина – девушка, очень уж молодо выглядела. Чертовски красивая, редко я таких красивых видел и раньше, и потом. Аккуратно расчесанные светлые волосы ниже плеч, глаза зеленые, почти в точности цвета сочной высокой травы. На голове таким веночком надето настоящее ожерелье из отшлифованных камней, зеленых и алых, расстояние меж ними пальца в два, так что прекрасно видно: камни нанизаны на светло-коричневый плетеный шнурок, все одинакового размера, только один, зеленый, побольше, помещается как раз над переносицей. Белое... скорее платье, чем рубаша, на груди и вокруг широких рукавов – вышивка, красно-сине-желтая, как те цветы, что вокруг растут. Во что она обута, я не видел, но не удивлюсь, если босая – по этой траве, по этому лесу, отчего-то чувствуется, можно запросто расхаживать босиком, это будет даже приятно. В бога в душу, ну неоткуда такой в Германии взяться посреди боев и пожарища! Только что-то не похож этот лес на Германию, режьте меня, никак не похож...

Она положила мне на грудь ладонь – явственное прикосновение реальной, теплой девичьей ладошки! – произнесла длинную фразу с явно вопросительной интонацией. Язык был насквозь незнакомый, но не лающий немецкий, в котором я чуточку разбирался, и уж никак не польский – в нем я тоже немного поднатаскался, да и до войны чуточку знал, белорус как-никак, хоть и не западный. Вообще неславянский язык, такое впечатление. Насквозь незнакомый, и всё тут...

Что я мог ответить? Сказал по-русски:

– Не понимаю, – добавил по-немецки: – Нихт ферштеен, – и еще по-польски: – Не розумем.

Она чуть пожала плечами с этакой милой гримаской – но не произнесла ни слова ни на одном из этих трех языков – скорее всего, ни одного не знала. Куда ж это меня занесло из тех мест, где уж немецкий-то должны понимать?! Она сказала еще что-то на своем непонятном языке, уже короче, и на сей раз я интонацию не смог определить.

Не до того стало, чтобы пытаться интонацию определять. В животе резануло, ощущение было такое, словно на него раскаленных угольев насыпали, меня, должно быть, всего перекосило, я не сдержался и громко застонал от боли. Собрал все силы и сдержался, стыдно было перед ней стонать, как раньше стыдно бывало перед девчонками-санитарками. Я не лопух какой-нибудь, только что попавший на передок, я brave танкист, «веселый друг» из известной песни про «экипаж машины боевой», мне полагается стиснуть зубы и терпеть, хоть боль и запустила зубья, вгрызалась, пополам рвала...

Она легонько нахмурилась с озабоченным видом, словно только что заметила, что со мной неладно. Осмотрела меня с ног до головы, по очаровательному личику видно, что-то для себя решила, коснулась пряжки моего офицерского пояса с пятиконечной звездой, несколько

раз настойчиво повторила одну и ту же короткую фразу. Я по наитию поднял ослабевшие, словно отяжелевшие руки, расстегнул пряжку, распустил ремень. Судя по тому, как она одобритительно покивала, именно это от меня и требовалось. И повела себя в точности как опытный санитар или врач – довольно бесцеремонно, но без малейшей брезгливости задрала под горло гимнастерку, потом пропотевшую нижнюю рубашку, уставилась на мое бедное пузо. Я, хоть и боль не утихала, стиснул зубы, заставил себя приподнять голову, тоже глянул. Как и следовало ожидать, кожа вокруг ран покраснела и вспухла, и крови нет ни капли, она вся внутри...

Девушка положила мне ладони на живот, лицо у нее стало отрешенным, напряженным, словно прислушивалась к чему-то далекому. То ли мне показалось в тот момент, то ли и в самом деле от ее ладошек распространялась прохлада, очень даже приятная для живота, который все так же жгло, как огнем. Правда, боль нисколько не утихла, но я отчего-то ощутил отчаянную, прямо-таки бешеную надежду...

Длилось это недолго. Девушка что-то сказала, покивала с таким видом, словно ей теперь всё ясно, а потом повернулась к лесу и очень громко, хоть и не криком, произнесла длинную фразу, такую же певучую, мелодичную, как весь ее непонятный язык, но звучало это – уж я-то разбираюсь – самым настоящим приказом. Ни словечка не понял, но интонации у нас, ручаться можно, совершенно одинаковые...

Тут же на лице у нее отразилось удовлетворение, и она, снова по интонации ясно, кого-то нетерпеливо поторопила. Кто-то к нам шел, с тихим шелестом раздвигая траву. Кто, я не видел – не мог уже поднять головы, как ни пытался. Она, мельком глянув на меня, сделала ладонью такой жест, будто прижимала к земле, коротко, повелительно бросила что-то, что скорее всего следовало перевести как «Лежи уж!». Я и лежал, а что мне еще оставалось, перевозмогал жгучую боль, стиснув зубы, изо всех сил старался не стонать, гвардии танкист лихой...

Тот, кого она позвала, подошел ко мне вплотную, и вот тут-то я едва не заорал. Не от страха – от лютого изумления. Такой подошел... Такое...

Существо. Создание. Удачнее слов и не подберешь. Большое, выше, чем по пояс стоящему человеку, кряжистое такое, массивное, сплошь заросшее густой, блестящей чуточку коричневой шерстью, и морда со стоячими круглыми ушами тоже, и тыльная сторона ладоней с короткими черными скорее когтями, чем ногтями. Морда ничуть не походила ни на обезьяну, ни на кошачью, вообще на морду какого бы то ни было известного мне животного не походила. Впрочем, еще неизвестно, морда это или лицо, животное это или что-то другое. Какой-то такой у него был вид... не животного. Точнее не берусь свои впечатления объяснить...

Большие желтые глаза с вертикальным черным зрачком казались умными. Гораздо умнее, чем у собак. Есть ли у него хвост и какой, я не видел. Но видел, как он подходил, неуклюже косолапя, култыхая на кривоватых задних лапах – ногах? Передние были прямые, раза в два длиннее задних, и как-то сразу определялось, что на четырех ему гораздо сподручнее ходить. И бегать – может так припустить... Пожалуй что, не лапы, а такие вот мохнатые руки – оно в обеих, согнув ладони ковшиком, как-то очень привычно держало по большой чашке – словно бы из обожженной глины, покрытой светло-зеленой глазурью, очень похожей на узбекские пиалы, которых я насмотрелся в Ташкенте. По ободку каждой шел черно-золотой узор, как мне показалось, в том же стиле, что узоры у нее на платье.

Что интересно, от него именно пахло, а не воняло. Пахло чистой, нагретой солнцем шерстью и еще чем-то непонятным, но не вызывавшим отторжения или других неприятных чувств... Да, я упустил одну деталь. От девушки тоже пахло непонятно, не духами и не здоровым свежим потом – скорее уж лесом, травами, цветами, ягодами, еще чем-то, и эти витавшие вокруг нее ароматы были очень приятными.

Повернувшись к непонятному существу, девушка что-то спросила. И оно ответило! Речь была не вполне человеческая – словно бы чуточку взрывающаяся, монотонная, – но вполне членораздельная, внятная, оно явно отвечало на том же языке. Хоть и решительно непонятно,

кто оно такое, но это никак не животное, несмотря на полное отсутствие одежды. Повторять человеческие слова может тот же попугай, а вот осмысленно и членораздельно поддерживать разговор с человеком ни одно животное не может...

Тарашилось оно на меня едва ли не с бóльшим любопытством, чем я на него. Очень может быть, таких, как я, в жизни не видело – ну взаимно, мохнатик... Что-то спросило у девушки, она ответила кратко, причем ее последние слова, ругаться можно, означали что-то вроде «Не время языком болтать!». Существо примолкло и больше вопросов не задавало.

Взяв одну из чашек и приподняв с неожиданной, неженской силой мне голову, девушка поднесла чашку мне ко рту, показывая ободряющей мимикой, что я должен это выпить. Питье было прозрачным, как вода, хотя пахло, как вода не пахнет – снова травяной, цветочный запах, присущий и этому месту, и двум его загадочным обитателям. Я замотал головой, попытался отстраниться, но не удалось – она придерживала мой затылок с той же неженской силой. Черт, ну как же ей объяснить, что пить мне сейчас никак нельзя?

Я принялся мотать головой, отчаянно гримасничать – всё, на что был способен. Она, все так же держа чашку, заговорила, втолковывала что-то примечательным тоном: настойчиво, терпеливо, чуть ли даже не ласково – словно заботливая мать, вразумляющая глупенького ребенка, который не хочет пить горькое, но необходимое для него лекарство.

Ее тон заботливой матери или опытной учительницы меня в конце концов убедил. Я подумал: где бы ни оказался, играть явно следует по здешним правилам, очень может быть, совсем непохожим на наши. Это у нас раненным в живот пить категорически нельзя, а здесь – где, кто бы объяснил?! – обстоит, возможно, совсем наоборот. Я перестал мотать головой и барахтаться. Она сделала удовлетворенную гримаску, поднесла чашку к губам. Поила очень умело, словно медсестричка с нешуточным опытом, так что на гимнастерку почти не пролилось.

Это определенно была не вода. Совсем другой вкус, сладковатый, будто у чуть-чуть разведенного водой фруктового сока. Прохладная, бодрящая жидкость, то ли самовнушение сработало, то ли и в самом деле боль унялась, и противная слабость во всем теле стала не такой заволакивающей с головы до пят, отступила. Точно, лекарство...

Чашка, если прикинуть, вмещала почти что литр, но я все выхлебал вмиг. С удовольствием выпил бы еще, в животе горело и пекло, жажда если и унялась, то ненадолго – но не похоже было, чтобы девушка собиралась меня поить и дальше. Снова сделала тот же жест, только теперь обеими ладонками – будто прижимала мои плечи. Я понял, что лежать мне нужно смирно, ну, и лежал смирнехонько, а что мне еще оставалось? Лежал, смотрел в безмятежное синее небо – ну ни дать ни взять Андрей Болконский под Аустерлицем! – и в душе крепла сумасшедшая надежда на то, что все обойдется. Быть может, не такая уж и сумасшедшая...

Я по-прежнему не строил никаких догадок касательно того, куда я попал и кто они такие. Довольно и того, что никакие они не враги, это уже совершенно ясно. Так к чему мучить мозги, если все равно не будет полной ясности и мы с ней друг друга не понимаем? В моем ох как незавидном положении только и ломать голову над загадками... Наоборот, в голову лезли посторонние дурацкие мысли. Я вдруг подумал: а ведь абсолютно не помню, какое воинское звание у князя Андрея было под Аустерлицем, хотя в школе по литературе, по «Войне и миру» в частности, у меня были одни пятерки. Что за ненужная сейчас чушь лезет в голову...

Существо село, плюхнулось толстым мохнатым задом в высокую траву, тарашась с тем же любопытством. Девушка, уже забравшая у него вторую чашку, наклонилась надо мной и, сосредоточенно хмуря бровки, принялась поливать мне на живот. Это уже было не питье: тягучая жидкость густо-малинового цвета, липкая, как варенье, я кожей почувствовал – и словно бы прохладная, как питье из первой чашки, приятно холодившая и словно бы унимавшая боль в животе. Понемногу меня стало клонить то ли в сон, то ли в забытие, дрема наплывала лип-

кими волнами, я словно бы, легонько раскачиваясь из стороны в сторону, плыл куда-то, где хорошо, уютно и покойно...

То ли дремал, то ли потерял сознание. Не знаю, сколько это продолжалось. Когда вновь открыл глаза, не почувствовал ни боли, ни сонной одури. Гимнастерка и исподнее были все так же задраны под горло, девушка по-прежнему стояла надо мной на коленях, и всё так же рядом с ней сидел Мохнатик (по-моему, такое имя ему подходит гораздо больше, чем «создание» или «существо»). Увидев, что я очухался, она ободряюще улыбнулась и показала рукой, чтобы я посмотрел на свой живот (я уже неплохо понимал ее жесты).

Я и посмотрел. Но до того произошло нечто очень примечательное.

Когда она наклонилась, длинные светлые волосы упали ей на лицо, и она, выпрямляясь, извечным женским движением отбросила их за спину. И я увидел ее правое ухо – на пару мгновений, но этого хватило, чтобы увиденное навсегда врезалось в память. Это было не обычное человеческое ухо, каких любой из нас за свою жизнь видел, наверное, миллион, мужских и женских. Формой от человеческого оно изрядно отличалось, настолько, что различия сразу бросились в глаза. Верхушка не овальная – что-то вроде острого угла с загибом назад. А мочки вообще не было. Причем не похоже, что это результат какого-то калечества: незаметно было ни шрамов, ни ожогов. Похоже, таким ее ухо было отроду – но у людей подобных не бывает. И большая серьга, похоже, серебряная, в треугольной подвеске шлифованный зеленый камень, такой же, как на ожерелье во лбу.

В тот момент я нисколько не задумался над этой очередной странностью. Кое-что другое занимало мысли без остатка – что там с моими ранами? Вот что занимало в первую очередь.

Я посмотрел. Впору было заорать от радости. От алой жидкости не осталось и следа, а на животе были не дырки от пуль, а пять следочков, какие остаются после пулевых ранений, благополучно заживших несколько месяцев назад. И всё. Ошибиться я не мог, насмотрелся заживших ран, у самого на плече была похожая – под Познанию я высунулся из башни, и какой-то гад угодил мне в левое плечо из винтовки. Совершенно та же картина...

Девушка поднялась на ноги (она стояла на притоптанной траве, и я видел теперь, что и подол ее платья расшит тем же узором в те же три цвета). Правую руку она сжала в кулачок и сделала обеими движение, которое можно было расценить только как предложение встать. Я и встал, ничуть не шатаясь, голова не кружилась, тело исправно повиновалось. Как и не было пяти пуль в животе.

На ее личике явственно выразилась радость и вроде бы довольство собой – что ж, у нее были все основания собой чуточку гордиться: неведомо как, но раны залечила. Мохнатик свои чувства выразил более непосредственно: как сидел, так и повалился на спину, колотя себя по груди передними руками-лапами, болтая кривыми задними, восторженно визжа. Девушка с улыбкой легкого превосходства смотрела на него, как взрослый на расшалившегося несмышленища. Потом повернулась ко мне, разжала кулачок. На ладони у нее лежали пять пуль от шмайсеровских патронов – кургузые, пузатенькие. Показала на них пальцем, указала мне на грудь. Я и на сей раз ее понял: интересовалась, не хочу ли я взять их на память. Как-то машинально я взял с ее маленькой теплой ладошки пули и ссыпал в карман галифе. Сам не знаю, почему так поступил, прежде такое у меня было не в обычае. Ну да, некоторые после операции брали на память пули или осколки, но не я. Когда в сорок четвертом в Белоруссии мне в левый бок прилетел осколок, вспоров кожу, засел меж ребрами, так что врач без всякой операции вытащил его щипцами, он тоже спросил, плеснув в честь легкого исцеления немного спирта (извлекал без всякого наркоза, понятно, я стиснул зубы и не застонал, хотя было больно) – буду я брать его на память, или как? Некоторые, мол, берут. Только мне такая память была совершенно ни к чему, и я сказал: может выбросить в мусорное ведро. А сейчас вот взял зачем-то пули.

Заправил в галифе нижнюю рубашку, взялся за ремень – он тем концом, где пряжка, удержался, а второй повис чуть ли не до земли, так что кобура с пистолетом вот-вот должна была упасть. Застегнул пряжку, оправил кобуру, собрал под ремень сзади складки гимнастерки. Бравый вояка стал, дальше некуда, хоть сейчас на доклад к Верховному – только что я такого, лапоть, каких на пятачок пучок, ему могу важного и серьезного сказать?

Дырки на гимнастерке так и остались, никуда не делись, но они меня как-то не волновали. Девушка мне улыбалась с довольным видом, а я ломал голову, как мне ей выразить самую искреннюю и горячую благодарность. Так и не успел ничего придумать – взяв меня за плечо с той же неженской силой, повернула спиной к себе, легонько толкнула ладошкой меж лопатками...

Хлоп! И не было больше ни таинственной опушки леса, ни странной девушки, ни еще более странного Мохнатика. Я прочно стоял на ногах посреди мощенной булыжником улочки Бреслау, поблизости все так же жарко полыхал тот дом – у него уже и крыша занялась – и лежал мертвый Осипчук с расплывшейся еще шире под головой лужей крови...

И пять дырок от шмайсеровских пуль на гимнастерке – значит всё это мне не привиделось, все было на самом деле...

Странно, но в первый миг я ощутил лишь легкую обиду, разочарование: оттого, что она меня из своего мира выпихнула так буднично, будто торопилась. И тут же устыдился, выругал себя на три гвардейских оборота с танкистским кандибобером: скотина, болван неблагодарный! Она ж тебе жизнь спасла, от неминуемой смерти избавила так, что и зеленкой мазать нечего! Вот главное, за что ты ей должен быть по гроб жизни благодарен. С какой такой стати ей было устраивать прочувствованное прощание, если главное сделано, а между собой вы двух слов связать не можете?

Я был посреди прежней своей жизни, и следовало быстренько определяться. Посмотрел на свои трофейные – секундная стрелка кружила исправно, не похоже, чтобы часам досталось, когда я повалился на камень. Выходило, что прошло всего-то минут пятнадцать, в четверть часа всё и уместилось. И некогда было рассусоливать, некогда горевать по Осипчуку, воевавшему у меня в экипаже полгода, – поблизости всю так же грохотал бой, была война, и мне было отведено строго определенное место...

Снял я со спины мертвого Осипчука исправную на вид рацию (я с рацией обращаться умел, так что нужно было и дальше выполнять задание), подобрал свой ППС, пистолет-пулемет Судаева – и побежал в ту сторону, где тарахтели очереди и рвались гранаты...

Ну, дальше ничего особенно интересного. Пехота наша штурмовала длинный трехэтажный дом, что получалось плохо, и у засевших там немцев – и власовцев, как вскоре обнаружилось – нашлось с полдюжины пулеметов, и огрызались они отчаянно. Комроты, мужик битый, не торопился, не имея конкретного приказа, гнать своих бойцов в лоб на пулеметы – залегли где удалось и перестреливались. Очень он обрадовался, когда я объявился в его импровизированном КП в аптеке на углу. Я развернул рацию и быстро связался с «Одуванчиком». Вскоре подошли две самоходки, стали гвоздить по дому от всей славянской широты души. Тут уж немцам быстро и качественно поплохело, вывесили в разбитое окно белую тряпку и стали выбегать с задранными руками. Набралось их десятка два – и пятеро власовцев с их погаными эмблемами на рукавах, к тому времени уже прекрасно нам знакомыми. Немцев комбат отправил в наше расположение, а власовцев согнали к ближайшей стене и резанули по ним из «Максима» – а как еще с этими сволочами поступать? По редчайшему стечению обстоятельств попадали они в плен – а вот так, сгорая, их и не брали...

А когда бои за Бреслау кончились и мне предстояло вернуться к себе в расположение, я удумал одну штуку... Гимнастерка у меня была хоть и старенькая, застиранная, но целенькая, без единой дырки. Теперь, извольте видеть, дырок сразу пять, опытному глазу сразу видно, что от пуль. А на мне-то ни единой свежей раны! Кто-то глазастый мог усмотреть, вспомнить, что

в город я уходил без единой дырки на гимнастерке – и, чего доброго, начались бы совершенно ненужные мне расспросы. Не собирался я никому рассказывать о случившемся, никто бы не поверил, как я сам не поверил бы на их месте. Вот и взял свой трофейный эсэсовский кинжал, до бритвенной остроты заточенный, вырезал на брюхе лоскут неровных очертаний, убрав все пять дырок. Тут уж никаких сомнений не возникло – мало ли где в городском бою можно клок из гимнастерки выдрать? Раздобыл новую х/б у старшины – и все дела.

Только недели через две, когда объявился передвижной банно-помывочный пункт и мы после баньки – с настоящей баней не сравнить, но все же баня – переодевались в чистое исподнее, Тарас Олифан, мой механик-водитель, стал как-то странно ко мне приглядываться. И в конце концов, покрутив головой, ляпнул:

– С памятью у меня что-то, что ли? Вроде не было у тебя, командир, таких дырок на пузе...

Я сказал как мог беззаботнее:

– Память тебя подводит, Тарас, это ж у меня с сорок второго...

Мы с ним воевали вместе больше года и в бане голыми друг друга видели не раз. Но кто бы помнил наперечет друг у друга следы от старых ран? Очень уверенно я держался – и Тарас чуть смутился, пробормотал:

– В самом деле запомнил...

На том дело и кончилось. За Бреслау мне потом дали «Боевые заслуги», вторую, одна у меня уже была. Но не о том разговор...

Девушку эту, представьте себе, я видел еще раз. Да, так и было. Через неделю примерно мы уходили от Бреслау, и я уже, как путный, ехал на своем танке в составе колонны. Подошли наконец двигатели, нам на рембазе поставили новый, заделали бортовую броню, и я опять был на коне.

Во второй половине дня встала наша колонна и шагавшая по обочине пехота. Как выяснилось быстро, впереди, в полукилометре, на мосту что-то случилось, отчего движение застыло на неопределенное время. Пехота как шагала, так и расположилась на обочине на отдых, а мы сидели кто на башне, кто на броне, курили и не особенно ругали задержку – куда нам было спешить?

Вот тут я ее и увидел, ясным солнечным днем, на опушке подступившего к шоссе прилизанного немецкого лесочка. Чем угодно могу поклясться, она там действительно была, стояла у краешка редколесья всего-то метрах в десяти от танка. Вот только... Если в прошлый раз она выглядела совершенно живой, сейчас смотрелась какой-то... полупрозрачной, удачнее слова не подберешь. Так иногда в кино показывают привидения. Я отчетливо мог рассмотреть сквозь нее толстый ствол немецкой липы. Но смотрела она прямо на меня, и я не сомневался, что она меня видит.

А вот ее никто определенно не видел, кроме меня. Народу там было много, танкисты и пехотинцы, многие смотрели в ту же сторону, но ни одного удивленного возгласа не последовало, ни одной головы в ее сторону не повернулось, никто не показал, что ее видит. Видел только я. Она была в том же платье, волосы так же расчесаны, на голове то же самое ожерелье из зеленых и красных камушков – были ли это стекляшки или шлифованные самоцветы, я как тогда не знал, так и теперь не знаю. И Мохнатика на сей раз при ней не было.

Смотрели мы друг на друга недолго, может, пару минут. Выглядела она совершенно спокойной и словно бы довольной. Красивая – спасу нет. Ушей ее я не видел, волосы скрывали. Потом она улыбнулась, подняла руку, легонько помахала мне. Я едва не помахал в ответ, но вовремя опомнился. Хорошо бы я выглядел: ни с того ни с сего машу рукой пустому месту...

Видимо, на лице у меня все же что-то такое отразилось: Тарас, сидевший на броне позади башни, чуточку встревоженно спросил:

– Что такое, командир? Что-то ты вдруг стал такой бледноватый, словно привидение узрел...

Он и не подозревал, насколько был близок к истине... Я сдержался, конечно. Ответил как ни в чем не бывало, не сводя с нее глаз:

– Да ерунда, вспомнилась тут одна хреновина...

Он пожал плечами и больше вопросов не задавал. А девушка еще раз помахала – и исчезла, словно некий выключатель повернули...

И было еще кое-что...

В сорок пятом меня здорово приложило в Берлине. Танк в городе слепой, ему там гроб. Сколько наших там сторело – но куда денешься, если приказ... Были даже случаи: встанет одиночный танк на улице, подскочит сзади даже не солдат, щенок из «Гитлерюгенда», плеснет бензину на моторные жалюзи, бросит спичку – и готов костер с шашлыком. Если все не высвываются из-за брони, если на улице нет наших или другого танка позади – хана...

Щенка с бензином не оказалось, просто мы напоролись на фаустников. Они вмазали сразу с двух сторон, успели выскочить только мы с механиком-водителем, а двое других (один из них был Тарас) так и сгнули, и я не знаю как. Это бы еще полбеды, у нас даже промасленные комбинезоны не загорелись, но немцы оказались хваткие, явно не фольксштурмовцы, тут же шарахнули в нас несколько гранат. Серегу убило сразу, а меня изрядно посеколо осколками, с проникающими ранениями грудной клетки. Очухался я уже в госпитале, после первой операции (всего их сделали три) – на мое счастье, санитарный автобус-летучка шел следом, за парочкой «тридцатьчетверок» нашего полка, и меня вовремя подобрали.

Очухался – и тут же опять провалился в беспамятство, да не простое – с долгим бредом и долгими видениями. Шесть дней меня так колотило, врачи одно время думали, что мне конец, но потом случился перелом в моем унылом состоянии, я даже немного опаматовался – и врачи меня стали готовить ко второй операции (все до одного осколки удалось вынуть только в ходе третьей). Тем временем случилась Победа, а я и не знал...

Так вот, девушка-из-леса ко мне приходила, в точности такая, как я ее помнил, в том же платье, с тем же ожерельем, разве что выглядела отнюдь не веселой – беспокоилась обо мне. На сей раз то ли она говорила по-русски, то ли я каким-то чудом освоил ее язык, и мы всякий раз долго разговаривали. И Мохнатик приходил, тоже долго просиживал у моей койки, разговаривал.

Только это, я уже тогда не сомневался, были всё же чисто бредовые видения. Так ко мне, пока я валялся в беспамятстве, самые разные люди приходили на долгие разговоры – и Майя, девушка моя, ждавшая с войны, и отец с матерью, и довоенные одноклассники, и мертвый Тарас, и еще трое погибших сослуживцев, и один раз, представьте себе, сам товарищ Сталин. Медсестрички потом рассказывали, что я их в эти дни чуточку пугал: многие в бреду мечутся, кричат, рвутся куда-то, так что держать приходится, повязки норовят сорвать, добавляя хлопот санитаркам. А я все время лежал смирнехонько, как та лялечка, тупо уставясь в потолок, шевелил губами, словно разговаривал с кем-то, кому в палате неоткуда взяться, и длилось это часами. Причем я потом ни единого словечка так и не вспомнил из тех разговоров, всё ушло вместе с бредом...

Но лучше расскажу о том, что было после войны.

Выписали меня через полтора месяца, годного без ограничений, без всякой инвалидности, разве что к двум красным нашивкам добавилась третья, желтая⁶. И угодил я вскоре под первую волну массовой демобилизации, чему был страшно рад: побаивался, что оставят в кадрах, а кадровым мне становиться никак не хотелось, страшно тянуло на прежнюю дорогу.

⁶ Красная нашивка на груди означала легкое ранение, желтая – тяжелое.

Получилось! До призыва я успел закончить первый курс факультета иностранных языков нашего областного пединститута и теперь без особых хлопот восстановился осенью на втором. Были у меня способности к языкам, еще в школе «немка» говорила, она в свое время и убедила на иняз поступать. Конечно, поначалу пришлось трудненько, многое я подзабыл, да и отвык от учебы. А особых поблажек мне как фронтовику никто не делал. Таких, как я, в институте хватало, иные с «иконостасом» почище моего, некоторые изрядно покалеченные, кто без глаза, кто без руки. Наоборот, качали головами, если случалась какая промашка, говорили укоризненно, что я, как зрелый человек, фронтовик, должен зеленой молодежи пример подавать, а я вот...

Но я старался. Получил диплом и всю остальную жизнь, до пенсии, преподавал немецкий. Это сейчас в школах форменное бабье царство, а в первые лет двадцать после войны очень много было мужчин-учителей.

Так вот... Лет через десять после войны как-то незаметно родилось и оформилось постоянное хобби. Правда, такого слова тогда и не знали, говорили «увлечение» или «мой конек». У превеликого множества людей были самые разные увлечения, это считалось обычным делом – мало ли у кого какое... Люди без увлечения даже смотрелись чуточку странновато, да...

Увлечение было такое: я задался целью отыскать язык, на котором девушка и Мохнатик говорили. Что было не так уж сложно: в Европе все же не сотня языков. В выходной (далеко не каждый, увлечение мое не имело ничего общего с фанатизмом) приходил в областную библиотеку, брал учебники разных языков, а то и книги на иностранных языках, штудировал вдумчиво, искал соответствия...

Немецкий отпал сразу, как и польский, без копания в книгах и словарях. Немецкий, если можно так сказать, твердый, как и все скандинавские, как фламандский, – а у нее язык был именно что мягкий, с преобладанием гласных. И ничего похожего на польское «пшеканье». Быстро отпали чешский, словацкий, сербский и хорватский (собственно говоря, это один и тот же язык, только сербы пишут кириллицей, а хорваты латиницей). Французский... Тоже обошлось без штудирования книг. Во-первых, французский у нас в институте изучался как второй язык, во-вторых, достаточно было вдумчивого знакомства с русской классикой – там попадается много слов и фраз на французском, у Льва Толстого особенно. Не английский – твердоват, уж никак не зубодробительный венгерский. Румынский и греческий чуточку похожи, но именно что чуточку. Более всего ее язык напоминал итальянский – но все же, пожалуй, не он.

И так далее и тому подобное... Понемногу отпадал один язык за другим. И года через четыре я мог с полной на то уверенностью сказать: языка, на котором она говорила, в Европе нет. Во всяком случае, в современной Европе.

Вот такой получился результат, точнее, отсутствие результатов. Разве что, когда ни одного «неосвоенного» европейского языка не осталось, первое время ощущалась этакая легонькая пустота – привык за эти годы регулярно ходить в читальный зал, обкладываться там книгами и погружаться...

А параллельно частенько задумывался над другим вопросом: кто она такая?

Уж никак не нечистая сила (в которую я как-то не особенно и верю). Нечистая сила, если верить всему, что о ней написано, главным образом вредит или уж мелко пакостит, а тут было совсем другое. Уж безусловно, не человек – или, я так выразился бы, не вполне человек. Люди такого не умеют, да и мир, куда я ненадолго попал, уж никак не наш, какой-то другой – один Мохнатик чего стоит.

Кто? А вот поди докопайся. Нет таких обширных энциклопедий, позволивших бы ее отыскать. Ну, предположим, есть капитальнейший двухтомник «Мифы народов мира», вон он, на полке. Но по каким ключевым словам прикажете искать? «Странная лесная девушка», «Целительница из леса»? Не получится. Нет таких широкоупотребительных терминов. А просто читать книги о разной европейской небывальщине – задача неподъемная, очень уж их много.

Лесная фея? Это уже теплее. Почитал я и о них. Но ни разу не попадалось ничего хоть отдаленно похожего на мою таинственную незнакомку из загадочного леса. Иногда похоже, но не то, не то...

Есть еще одна гипотеза, почерпнутая прямиком из фантастики. Фантастику я еще до войны читал: Трублаини, Беляев, Казанцев, Адамов, «Аэлита» и «Гиперболоид», подшивки журналов «Всемирный следопыт» и «Мир приключений» – отец выписывал... И после войны читал регулярно, покупал, было и есть такое увлечение. В конце шестидесятых покати́лся книжный дефицит, и фантастика из свободной продажи исчезла, но у меня, так уж вышло, был блат в большом книжном магазине: у заведующей обе дочки у меня учились с четвертого по десятый, очень она хотела, чтобы они хорошо знали иностранный язык. Так что у меня была возможность приобретать новинки с черного хода. Ну, а потом и на прилавках появилось что душе угодно.

Так вот, если о фантастике. Эльфы, они самые. Лесные обитатели с разными магическими умениями. И уши у них не похожи на человеческие. Вот только в этой гипотезе есть свои нюансы и шероховатости. С одной стороны, все фантасты, которых я читал, эльфов описывают чуть иначе: и одежда у них не такая, как платье той девушки, и уши остроконечные, а не такие, какие были у нее, и язык у эльфов довольно-таки твердый, со значительным числом согласных. С другой стороны... Все эти книги никоим образом не документальные, не на реальности и уж тем более не на личных впечатлениях написанные. Ни один из авторов, ручаться можно, ни разу в жизни не встречался с живыми, настоящими эльфами – если только они есть. А если чисто умозрительно представить, что они все же есть, откуда нам знать, как они выглядят, как одеваются, как звучит их язык, наконец, какие у них уши. Кстати, в некоторых фантастических романах у эльфов глаза преогромные, чуть ли не на пол-лица. А у нее глаза были просто большие, какие и у обычных людей, у обычных девушек не так уж редко встречаются.

Можно предположить, если дать простор фантазии, что она – лесная фея. Можно – что эльфийская девушка. Только какой смысл в этих предположениях? Да никакого. Сомневаюсь, чтобы мы с вами когда-нибудь узнали правду, как она есть.

А шмайсеровские пули – вот они, все пять. Так и сохранил, знаете ли. Потускнели, конечно, ага. Майе я никогда не рассказывал подробностей. Мы с ней как расписались через две недели после того, как я вернулся с войны, так и живем. Практически не было у меня от нее секретов, но эту историю я ей никогда не рассказывал, и не только не потому, что боялся – не поверит. Может, вы и будете смеяться, но отчего-то у меня всегда было такое впечатление, что она начала бы легонечко ревновать, хотя ровным счетом ничего и не было. Ну да женщины порой – создания своеобразные. Согласны? Вот видите...

...И телега встала⁷

Я вам как-то обещал рассказать про деда Парамона, я помню.

Вообще-то тогда, в девятнадцатом, никто его еще не звал «дедом» – не дожил еще до таких лет. Дедом стали его называть позже, когда я подросток и вступил в пионеры, а он соответственно состарился.

В девятнадцатом году он был еще не дед, а крепкий мужик шестидесяти с небольшим годочков: косая сажень в плечах, шевелюра буйная, и ни в волосах, ни в усах-бороде почти что и нет седины (это потом, когда я подросток, появилось немало седины, а к семидесяти он уже был седой как лунь – правда, почти по-прежнему крепкий). Вся деревня знала, что он втихомолку похаживает к солдатке Насте – мужа у нее убили на Первой мировой, и жила она немножечко вольно. Именно что немножечко, в меру, не выходя за пределы кое-каких деревенских приличий. Правда, разговоров о ней и Парамоне почти что и не было, не то что о других подобных парочках – о Парамоне старались особенно не сплетничать, прекрасно зная его, выражаясь современным языком, репутацию. Некоторые даже говорили, что он снохач, но эту сплетню произносили вовсе уж на ухо и далеко не каждому, опять-таки учитывая репутацию Парамона – мог, узнав, на сплетников всерьез осерчать, а из этого ничего хорошего не получилось бы – понятное дело, для сплетников... Издавна считалось, что рассердить Парамона – боже упаси...

Хозяин он был крепкий, справный, с батраками. Пять лошадей, десятка два коров, свиньи, всякая птица, даже полдюжины ульев. Засевал немаленький клин ячменем. Сына со снохой он отселять не стал – поставил им новую избу на своей немаленькой усадьбе, так и жили. Ну, таких крепких хозяев у нас в деревне хватало.

И отличался от них Парамон тем, что знал. В Сибири таких людей, сами прекрасно знаете, никогда не называли колдунами. Колдуны – это в России. В Сибири всегда говорили: «Знает он что-то такое». И никак иначе. Так уж испокон веку повелось.

Вот и Парамон знал. О чем мы, детвора, узнавали очень рано, едва входили в соображение. И, как взрослые, относились к нему, как бы объяснить... Нет, не то чтобы с таким уж страхом. Очень уважительно, что ли, – хотя да, с ноткой боязливости.

О том, как он свои умения проявлял, рассказать можно много, но поскольку мы занимаемся чисто военной жутью, как вы это назвали, я в подробности вдаваться не буду. Уточню лишь: порой такие люди бывают откровенно злыми – и вот их-то по-настоящему боялись (но бывало, правда, не в наших местах, что кончали они плохо – поди потом догадайся, чья пуля из тайги прилетела...). Случалось, злые за хорошее вознаграждение делали людям что-то скверное, иногда – очень скверное. Насылали всякие беды-невзгоды, хомуты накладывали. Знаете про хомуты? Ну вот. Сейчас знаткие люди, такое впечатление, практически повывелись, а когда-то, на моей памяти, не так уж редко попадались, особенно в глухомани наподобие нашей тогдашней.

По-всякому оборачивалось. Вот, скажем, крепенько возненавидели друг друга по каким-то причинам два соседа. Или парни не поделили девку, и ни один отойти в сторонку не хочет. Кто так и будет справляться со своими обидами собственными силами, а кто с темнотой проскользнет к злему, ну, или злой. Разные люди бывают. Кто-то на что угодно готов, чтобы врагу своему насолить покрепче, и в средствах не стесняется, благо – чужими руками.

Так вот, про Парамона давно и достоверно было известно: заказов он (выражаясь сегодняшним словечком) никогда не принимает. Правда, это не значит, что он не сделает ничего плохого тому или той, кого по каким-то своим побуждениям крепенько невзлюбит. Делал, и еще как. Правда, до крайностей, до смертей или там смертельных недугов никогда не доходило:

⁷ Из рассказов полковника в отставке Федора Ивановича Седых.

скот падет, птица передохнет ни с того ни с сего, грыжа неожиданно вылезет, боровчан⁸ вдруг ошалевает, с цепи сорвется и хозяина порвет, чего за ним отроду не водилось, мужик в своем дворе на собственные вилы напорется, причем не по пьянке, а в трезвом виде, или оступится на крыльце так, что ногу сломает. Примерно так.

Делал он иногда и что-то доброе. Скажем, пропала у мужика корова, как ни искал, не нашел. Пошел к Парамону, тот своим умением определил, где именно она блукает – в том самом месте ее хозяин и отыскал. Или приходит к нему девка и слезно жалуется на парня, что проходу ей не дает, охальничая напропалую, по-нынешнему, беспредельничая. Парамон его малость покритиковал на свой манер, так, что тот с девками стал тише воды ниже травы, да и прочие свои выходки забросил. От пьянства людей заговаривал, если жена пьяницы упросит. Или вот... В Первую мировую очень уж расплодились в наших местах волки – бывает такое в войну, вообще при каких-то серьезных бедствиях. Скот на пастбище резали, на людей пару раз нападали. Пошли к Парамону. Уж никто не знает, что он там делал, но через пару дней волки из наших мест пропали напрочь, словно друженько откочевали куда-то – а ведь им такое поведение совершенно не свойственно...

Ну, предположим, в истории с волками Парамон не просто «для блага опчества» старался, в первую очередь преследовал сугубо личную выгоду. Его коровы ходили по тем же пастбищам, и одну из них обнаглевшие волки зарезали. Но какая разница, что им двигало, если от того, что волки ушли, была большая польза всей деревне?

Вот такой он был, Парамон, только прежде чем рассказать ту историю, поговорим немножко о революции и колчаковщине. Хочется поговорить старику – тем более что тема вовсе не отвлеченная: помогает кое-что понять в происходившем.

Перестроечная гласность бушует всюду – форменное цунами. К превеликому сожалению, во всем, что выплескивается печатно, кроме прямой лжи, хватает и подтасовок, и верхоглядства.

Возьмем взятие большевиками Зимнего. Пишут, что не было никакого такого героического штурма, так красочно показанного в фильме Эйзенштейна. Что большевики, можно так сказать, просачивались в Зимний маленькими группами через многочисленные «черные ходы», а когда их набралось достаточно, разоружили защитников дворца. И погибло в стычках всего-то несколько человек, меньше десятка. Отсюда вытекает, что это была не Октябрьская революция, а Октябрьский переворот.

Открыли Америку, называется! Еще во второй половине пятидесятых порой выходили книги, где все так и называлось – Октябрьский переворот. Так и писали. И диссиденты тут ни при чем – не было тогда такого понятия. Книги издавались официально, проходили цензуру, но не боялись и не стыдились слова «переворот». Те, кто с видом первооткрывателей шумят, что это был всего-навсего переворот, даже не задумываются, что это они не коммунистов в чем-то уличают, а наглядно показывают все ничтожество и бессилие Керенского. Никто за него всерьез не пошел драться, в Зимнем нашлась горсточка юнкеров да баб-ударниц из женского батальона Бочкаревой. Пришли красногвардейцы, цыкнули, выражаясь строчкой Маяковского: «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!» – и обрушилось никому уже не интересное Временное правительство, как пьяный в канаву...

Во Франции, между прочим, имеет место быть нечто очень похожее. Никакого «штурма» Бастилии и не было, точно так же понемногу просочились тамошние бунтовщики в крепость и перебили весь гарнизон, которого было всего ничего. Зато какие гравюры появились в конце восемнадцатого века! Я в шестидесятые выписал сыновьям, тогда еще школьникам, «Детскую энциклопедию», там в томе по зарубежной истории была одна такая картинка. Героический штурм, спасу нет! Из Бастилии палят пушки, у осаждающих красиво палят шеренгой орудия...

⁸ Боровчан – здоровенный цепной кобель (сибирский говор).

А никакой шеренги орудий не было и штурма не было, а из Бастилии ни одна пушка не пальнула – в крепости вообще не было пороха, и гарнизон был – полтора инвалида, и ни одного политического там не маялось – то ли шесть, то ли семь уголовников...

И что? Я читал – потом французы учредили почетный знак в честь штурма Бастилии, и получать его сбежалось немало народу. Мало того, у французов до сей поры четырнадцатое июля – национальный праздник, День взятия Бастилии, и отмечают они его очень торжественно. В прошлом году показывали по телевизору – и народные шествия, и военный парад...

Так и с историей гражданской войны в Сибири обстоит – с умным видом «открывают» давно известное, с видом первооткрывателей шумят: мол, советская власть в Сибири пала.

Так ведь никто и не спорит – именно что пала. Именно это слово при самой что ни на есть советской власти порой печатно употреблялось, потому что так и обстояло, и об этом ничуть не стыдились упоминать.

Другое дело, никогда раньше не писали, что в гражданской войне в Сибири были свои серьезные нюансы и свои сложности. Поймите меня правильно. После всего этого потопа перестроечных разоблачений (далеко не всегда правдивых и справедливых) я отнюдь не стал ни антисоветчиком, ни антикоммунистом. Не могу сказать, что я такой уж высокоидейный коммунист, но в партию я вступил на фронте, в сорок втором, в очень тяжелые времена – и билет сохраняю.

Но что поделатъ, если в Сибири и в самом деле хватало своих нюансов и сложностей...

У нас те схемы, что удачно работали в России и отражали, что уж там, истинное положение дел, решительно не годились. Это в России много земли было у помещиков, а у крестьян мало, то-то, когда Столыпин объявил реформы, они массами в Сибирь кинулись счастья искать. А у нас помещиков отродясь не бывало, так что никакого передела земли и не требовалось. И пролетариата в российском понимании не было, потому что не было больших фабрик и заводов. К «классическому» пролетариату можно отнести разве что рабочих железнодорожных мастерских вдоль всей Транссибирской магистрали. Именно они в девятьсот пятом Красноярскую республику и провозгласили, только продержалась она неполный месяц: пришли войска и без особых трудов республику отменили...

Сибирские деревни жили зажиточно. Это в России многие крестьяне были безлошадными, а у нас в Сибири без лошади в хозяйстве просто-напросто не проживешь, ложись да помирай. В России человек с парой-тройкой лошадей считался бы богачом, а у нас – обычное дело.

Ну вот, и после революции очень многие приехавшие к нам большевики до того в Сибири не бывали, нюансов и сложностей не понимали и не учитывали. Стали корезить жизнь по тем российским схемам, наломали немало дров – вот сибиряки и шатнулись к Колчаку масово. Нешуточный был энтузиазм, так что прямо-таки поперли к Уралу, взяли Екатеринбург и Пермь. Дело отнюдь не в поставках иностранного оружия – не такими уж они были большими, и, что важнее, воюют не оружие, а люди.

Трудно сказать, как бы все повернулось, пойдя сибиряки под бело-зеленым флагом с тем же воодушевлением из Поволжья на Москву. Только и воодушевление, и энтузиазм очень быстро улетучились напрочь. И никто, кроме Колчака, в этом не виноват. Своими руками все загубил, кокаинист хренов...

И он, и его офицерство, особенно старший командный состав, большей частью в Сибирь попали впервые в жизни. Как в свое время большевики, нюансов и сложностей не понимали и не учитывали. И начали всё делать опять-таки по своим схемам, которые для Сибири никак не годились. Карательные отряды форменным образом лютовали – чаще всего без всякого повода. Обычно было так: стоит себе деревня с зажиточным народонаселением. Ни за колчаковцев не стоит, ни за красных, хочет одного: чтобы людям дали жить, как они хотят, и не лезли к ним с реквизициями-мобилизациями. Приходят колчаковцы, порют, вешают, частенько перед

этим лупят по селу из пушек. Просто так, ни за что – острастки ради, чтобы «быдло» знало свое место. Об этом иногда отнюдь не красные пропагандисты писали – недавно напечатали отрывки из дневника колчаковского министра барона Будберга. Он подробно об этой карательной практике рассказывает, очень ее осуждает и предсказывает, что добром это не кончится. А дневник пишется не для печати, а для себя...

А ведь были еще и чехи, чехословацкий корпус. Эти с красными и не думали воевать, в первую очередь преследовали собственные шкурные интересы. Тоже позверствовали, но в первую очередь грабили все, что не прибито и не приколочено. Они, кстати, преспокойным образом Колчака и сдали, договорились с красными: те им разрешают вывезти все награбленное, в том числе часть царского золотого запаса, а они сдают адмирала, как пустые бутылки в пункт приема стеклопосуды...

В общем, валом пошли зверства, притеснения и реквизиции. А с сибиряками так нельзя, никакое они не быдло, привыкли жить гораздо вольнее, чем в России, и шапку ни перед кем не ломать. Ружье в каждой избе, фронтовиков много, иные с винтовочками и наганами вернулись... Как сначала шатнулись к Колчаку, так в массовом порядке от него и отшатнулись. Без всякого участия и руководства большевиков появились целые партизанские армии, в девятнадцатом и города брали. Ну, что вам рассказывать, вы ж минусинский, сами знаете, кто оттуда колчаков гнал. Появились целые «партизанские республики» размерами побольше иной Франции – Тасеевская, Баджейская. Красных и там близко не было, народ сам управлялся.

(Да, такое вот отступление о батраках. Было их у нас немало, и были это, за редкими исключениями, как раз столыпинские переселенцы из России. Кое-кто из них выбился в крепкие хозяева, но многим у нас не пофартило, кто несолоно хлебавши вернулся в Россию, кто подался в батраки. Когда началась Гражданская, очень четкое пошло размежевание: местные – к Колчаку, «столыпинские» – в красные партизаны...)

С нашей деревней получилось, как со многими другими. Жили себе, как привыкли, в драку не встречали, разве что иные хоронились от мобилизации в тайге – а в тайге поди сыщи... Это вам не бульвар. Нагрянула однажды казачья сотня, и началось... Двух человек повесили на воротах – тех, кто под руку попались, перепороли немало народу – и мужиков, и баб. Устроили реквизицию, и скота изрядно угнали, и с женским полом охальничали, и грабили что попало.

Погуляли так по всей округе. Вот округа и поднялась. В нашей деревне отряд сколотил Ануфрий Седых, нет, ни с какого боку мне не родственник, просто у нас, так уж случилось, полдеревни было Седых. Человек был примечательный: до войны мирный волостной землемер, а на войне дослужился до подпрапорщика и получил полный Георгиевский бант – четыре креста, четыре медали. И командиром отряда оказался толковым – бывает такое на войне с самыми мирными людьми, которым выпал случай проявить себя...

И очень быстро образовалась республика не республика, но довольно обширная территория с деревнями с двадцатью, где колчаковской власти не было, да и никакой не было, сами управлялись. Большевик нашелся один, Тимка Каразин, даже не большевик, а так, нахватавшийся вершков сочувствующий. Никакого влияния он не имел, да и не рвался таковое зарабатывать, пошел к Ануфрию в отряд, и всё.

Парамон тоже пошел. Голубиным нравом он никогда не отличался, а казаки у него пять коров и двух лошадей угнали, сноху изнасиловали, усадьбу пограбили-погромили. (Сын у него от мобилизации на заимке прятался и, узнав про жену, взял винтарь и подался к Ануфрию.) Как и прочие, Парамон был не с пустыми руками – у него имелись и бельгийский нарезной штуцер, и отличная германская двустволка «Зауэр три кольца», в Красноярске купленные. Охотником он был заядлым, двух медведей взял, оленей стрелял (они в наших местах тогда водились, пропали, когда после Отечественной начались в наших краях большие стройки и лесозаготовки), белку бил, птицу. Очень удачливый был, всякий раз возвращался с полем. Я

пацаном его пару раз видел – вся опояска глухарями и рябчиками увешана, за спиной мешок с беличьими шкурками. В деревне шептались, что везет ему не просто так, что он своими умениями еще и дичину под выстрел подманивает. Правда или нет, не знаю – он всегда в одиночку в тайгу уходил.

Месяца два эта наша вольная территория жила спокойно, колчаковцы не тревожили – не до нее, надо полагать, было, дела у них на фронте обстояли скверно – в тылу партизаны в большом количестве, Омск они уже сдали, так что перестал Колчак быть, как в известной частушке пелось, «правителем омским»...

А потом дошли блудливые рученьки и до нашей деревни. На сей раз никак нельзя сказать, что деревня перед колчаковцами была безвинная: пару раз в наших местах их мелким отрядам залили сала за шкуру, чтобы не совались, а в третий, за неделю до событий, на Большом Сибирском тракте (его еще звали Владимиркой) перехватили небольшой, в десяток повозок, обоз с патронами, консервами и катушками телефонного провода. Провод партизанам был без надобности, его побросали на обочине, а остальное пришлось очень даже кстати, наши прихватили все десять повозок. Возчиков, конечно, отпустили – такие же деревенские, подневольные. Задравших руки шестерых солдат (всего их было десять, четверых наши сразу залпом из тайги положили) тоже отпустили, забрав, конечно, винтовки и сняв сапоги – и без сапог до своих дошкандыбают, не баре. Офицеру, что солдатами командовал, так не пофартило. Сдайся он честь по чести, может, и его пустили бы без сапог на все четыре стороны после мордобойного поучения – но он, стервец, одного нашего из нагана в руку ранил, а когда скрутили, обзывался самыми черными словами, плевался, пинаться пробовал. Ну, его к сосне и прислонили за неимением стенки...

А через неделю, где-то в полдень, из соседней деревни, что была от нашей верстах в десяти, прискакал тамошний мальчишка, охлюпкой, то есть на неоседланном коне. Отыскал Ануфрия и кричит: «Колчаки в деревне!» Рассказал, что видел. Казачья и солдаты на повозках. С ходу подожгли пару домов, бабы голосят, люди в тайгу бегут, одного мужика с их конца походя застрелили. Деревня была небольшая, гораздо меньше нашей, так что партизан было всего-то человек десять – и они тоже ломанулись в тайгу. Сколько всего колчаковцев, мальчишка не знал, он же их не считал второпях, сказал только, что их «богато»...

Ануфрий не сомневался, что колчаковцы пойдут к нам – не стали бы они тащиться почти тридцать верст из уездного городка ради одной соседней деревни, довольно маленькой. Наверняка собирались крепенько припугнуть и нас, а может, еще пару-тройку окрестных деревень (для всех для них Ануфрий был атаманом, о чем беляки могли и знать – крепко подозревали, что кто-то с одной из деревень шпионит для колчаковской контрразведки, были основания так думать, но пока что не нашли вражину и не знали, в какой именно деревне он затаился...).

Медлить не стоило. Сигнал для сбора по тревоге Ануфрий установил с самого начала – три выстрела в воздух. Так что, выслушав мальчишку, вышел на крыльцо и трижды шархнул из винтовки.

Со всех сторон к нему сбежались партизаны и скоро заняли позицию. Очень выгодная была позиция. С той стороны, откуда только и могли нагрянуть колчаковцы, к деревне примыкала тайга километра в полтора шириной, а дальше версты на три тянулось почти голое место, равнина с редкими соснами. У крайних деревьев, в тайге, Ануфрий своих и расположил по обе стороны дороги.

Примерно через полчаса показались колчаковцы. Полевой бинокль у Ануфрия был хороший, восьмикратный французского производства, с германского фронта привезенный, так что он быстро определил силы противника. Казачья полусотня примерно два взвода солдат на повозках. У Ануфрия было человек тридцать пеших (о партизанской коннице чуть погодя), а колчаковцев оказалась чуть ли не сотня. Но падать духом не следовало – схватиться предстояло отнюдь не в чистом поле, так что численное превосходство противника тому ничем помочь не

могло. Атаковать он мог только в лоб, по равнине, где колчаки для укрывшихся за деревьями партизан были как на ладони. Расклад для боя в таких вот условиях давно известен: атакующий теряет втрое больше обороняющегося. На одной из повозок Ануфрий высмотрел «максим», но для укрывшихся в тайге он не так уж и опасен. У наших тоже был «максим», и лежал за ним человек умелый – Петьша Седых, двоюродный брат моего отца, два года провоевавший как раз в пулеметной команде. Лент, правда, имелось только три, но Петьша дело знал и попусту жечь патроны не стал бы.

Изготовились. Не доезжая до тайги примерно километра, колчаковцы остановились. И поступили грамотно: казаки спешили, отдав лошадей коноводам, солдаты попрыгали с повозок и цепями двинулись к крайним деревьям – явно уже знали, что с нашими будет справиться не так просто, как с соседями. Да и видели, как мальчишка ускакал из той деревни – он говорил, что его заметили, стреляли вслед, но он был уже далеко...

Офицеров у них было два. Казачий есаул, усач в зрелых годах, несомненно, был фронтовиком – вперед не лез, шел в третьей, последней цепи. Пехотный поручик выглядел сопляком, похоже, из «скороспелых» (у Колчака «скороспелых» офицеров было много, иногда из поручиков в полковники прыгали). Этот, судя по ухваткам, вообще был недавним студентиком или что-то вроде того – сначала по-дурацки выскочил перед первой цепью, как будто это была не настоящая война, где таких выбивают в первую очередь, а красивое батальное полотно. Судя по жестам, есаул на него цыкнул в голос, и сопляк проворно убрался во вторую цепь.

Шагали они медленно, сторожко – ну явно догадывались, что наши уже предупреждены. Ануфрий прикинул, как будет действовать: когда подойдут на дистанцию прицельного убойного выстрела, прикажет Парамону снять из штуцера есаула, а потом и сопляка. Оставшись без офицеров, они, конечно, не пустятся наутек, но задор подрастеряют. Вообще-то, если у них найдется опытный солдат-фронтовик, может и принять команду, как порой бывало на войне, но все равно это не то – оставшееся без офицеров подразделение всегда уверенность в себе изрядно потеряет...

Они уже прошли примерно половину расстояния, отделявшего их от крайних деревьев. Еще немного – и можно будет валить есаула. Парамон стрелял отлично, белку в глаз не бил, но и охулки на руку не клал. Еще немного, и можно давать ему команду...

Тут со стороны колчаковцев послышалось гулкое механическое тарахтенье, и за их спинами, на дороге, показался броневик.

Никто не оглянулся – значит, с самого начала о нем знали. Мальчишка о нем ни словечком не упомянул, а ведь никогда в жизни не видывал этакое чудо-юдо, обязательно сказал бы. Значит, не видел. Надо полагать, ускакал до того, как броневик вошел в деревню, – приотстал, то ли останавливался для мелкого ремонта, то ли еще что...

Ситуация внезапно изменилась самым решительным образом – и отнюдь не в пользу наших, совсем наоборот...

Броневику ничуть не походил на пулеметный двухбашенный «Остин» английской конструкции, такой, с которого Ленин держал речь перед встречающимися на Финляндском вокзале. Был гораздо больше – этакий здоровенный гроб на колесах, длинная коробка. Башенки у него не имелось, никакое дуло не торчало, но хотя такие на позициях встречались гораздо реже «Остинов», Ануфрий знал: из заднего броневоего листа торчит кургузая трехдюймовка. Вроде бы такие придумали и клепали на Путиловском заводе в Питере, но сейчас эти подробности не имели никакого значения. Чтобы стрелять, он поступал как тачанка – подъезжал поближе и поворачивался задом. Угол обстрела, конечно, ограничен, но это сейчас неважно...

Броневику, особенно пушечный, в то время был самым серьезным и страшным оружием пехоты. Броня, про меркам Отечественной, хлипкая, но и винтовочные, и пулеметные пули (собственно, это было одно и то же) ее не брали, а гранаты тогда были только осколочные,

против броневика опять-таки бесполезные, да и не было у партизан гранат. Справиться с броневиком могла только пушка – но откуда она у наших?

Человеческая мысль – быстрее любой молнии. И в голове у Ануфрия вихрем вмиг пронеслись самые разные мысли...

Что колчаковцы собираются предпринять, было предельно ясно. Прекрасно знали, что могут встретить серьезное сопротивление в центре партизанского движения, и продумали все заранее. Броневик подъедет совсем близко, развернется и примется лупить прямой наводкой, и поделаться с ним ничего невозможно. Вояки достаточно опытные, чтобы не тащить сюда фугасные снаряды, от которых мало проку против засевших в тайге людей. Наверняка у них там шрапнель. Свинцовая метель хлестанет меж деревьев, принесет гораздо больше урона, чем винтовочная пальба. В любом случае придется отступать. Пускать в ход конную засаду будет рано – и чем обернется отступление под беглым пушечным огнем, сказать нельзя. Не так уж и много поместится в броневик снарядов – ну, с дюжину. Но очень уж подозрительно выглядит одна из повозок. На ней с самого начала не было солдат – лежит какой-то груз, прикрытый брезентом. Остальные повозки остались рядом с казачьими конями, а эта катит следом за наступающими цепями, возница, примеряясь к их движению, пустил лошадей шагом. Ох, сердце чувствует, что там снаряды. Крепенько же они решили за нас взяться... Очень паскудный расклад...

И тут же пришла другая мысль...

Ануфрий, здешний уроженец, сызмальства знал, на что Парамон способен и что порой проделывал. Числилось среди его умений и такое... Однажды, еще в царские времена, еще до войны, из-за чего-то Парамон крепенько повздорил с Африканом Балызиным. И многозначительно так бросил, уходя: «Попомнишь...» А Балызин был человек норовистый, не трусливый, себе на уме. Другой, зная Парамона, испугался бы или в крайнем случае закручинился бы, но только не он. Сказал потом соседу: «Кто ж спорит, знает Парамон что-то такое. Только об меня зубы обломает, где сядет, там и слезет...»

Сосед потом говорил кое-кому с оглядкой: он-то знает, отчего Африкан так в себе уверен и не боится. В матери-покойнице все дело – она, вся деревня ведала, была тоже из знатных. Сам Африкан отроду не сделал ничего такого, что позволяло и его к знатным причислять, но, может, ему от матери все же что-то досталось, отчего он Парамона нисколько не боялся и всегда, в противоположность многим, держался с ним очень независимо? Ничего толком не известно, но – может быть...

Три дня потом Африкан держался как ни в чем не бывало. А на четвертый день – приключилось...

Многие видели своими глазами. Запряг Африкан лошадь в телегу и собрался возить снопы с поля. Пора не просто была страдная – один знаткой старичок сказал, что вот-вот обрушится долгая непогода с дождями и грозами, так что нужно убрать снопы побыстрее. Очень уж давно знали, что такие вещи, касаясь погоды, он предсказывает безошибочно, – и хотя на небе не было ни облачка, народ принялся прямо-таки челноками сновать меж полями и овинами...

Посреди улицы телега вдруг встала как вкопанная, Африкан спрыгнул на землю, стал осматривать колеса. Подошли двое деревенских, тоже посмотрели. Колеса вроде бы были в полном порядке – но застопорило их намертво, словно палками заклинило. Но ведь не было никаких палок! И все равно колеса не вертелись, встали намертво, телега не ехала. Африкан сгоряча принялся нахлестывать лошадь, но как он ни старался, протащила она телегу с застопоренными колесами не далее чем на пол-аршина... Ничего нельзя было поделаться. Не вертелись колеса, и всё тут, в первый раз в жизни люди такое видели...

Африкан выпряг лошадь и пошел к ней к соседу – тот уже вывез с поля все свои снопы, его телега стояла во дворе без дела. Ну и одолжил ее Африкану. Вокруг его телеги, выглядевшей посреди улицы, надо полагать, довольно нелепо, уже собралось человек пять, да еще

ребятишки прибежали. Чесали в затылках, пробовали телегу толкнуть – без толку, колеса не вертелись.

Едва Африкан на соседской телеге поравнялся со своей, с соседской произошло то же самое, колеса застопорились намертво, и ничего с ними нельзя было поделывать. Зрители только рты разевали, глядя, как Африкан мается. Ничего сделать он не пытался – что тут сделаешь? И тут кого-то словно черт за язык дернул, сказал Африкану:

– Как бы тебе, Африкан, кто чего не изложил... Слышал я про что-то похожее, давненько, еще перед японской войной. Не у нас, в соседней деревне, был там один знаткой...

Вот тут-то Африкан и припомнил парамоновское «Попомнишь...». Потоптался еще возле телег, яростно плюнул и увел лошадь к себе на двор. А там и остальные разошлись, смотреть особенно стало и не на что...

А ближе к вечеру собрались тучи, засверкали молнии. Три дня лило как из ведра. На четвертый и небо разъяснилось, и колеса у телег, оказалось, вертятся нормально, как им и положено. Африкан тут же взялся возить мокреухонькие, сопревшие снопы. Как он ни старался в овине, как ни нажаривал пламя под решетками, а ничего не вышло: погиб урожай...

В деревне об этом какое-то время судачили. Потом перестали – и история потеряла новизну. Но, так сказать, легла в копилку, куда ложились рассказы о Парамоне. Никто не сомневался, что без него тут не обошлось. Выходило так (сказал кто-то), что самому Африкану Парамон ничего не сделал, может, потому, что не мог, а вот на телеге, выходит, отыгрался. Что по этому поводу думал сам Африкан, неизвестно, он своими раздумьями ни с кем не делился. Попал в хлопоты и непредвиденные расходы: купил зерна, чтобы не остаться без муки, а ту часть урожая, что рассчитывал пустить на продажу, понятное дело, продать не смог, нечего было продавать...

Вот эта самая старая история и пронеслась в голове у Ануфрия. И появилась сумасшедшая надежда поправить дело...

Парамон со штуцером хоронился за тем же деревом – ждал команды хлопнуть офицеров. Ануфрий ухватил его за широкое плечо, выдохнул:

– Парамон, останови его!

В голове у него крутилось одно: у телеги колеса, и у броневика колеса, может, колеса – это всегда колеса, к чему бы ни приспособлены?

Парамон глянул на него колюче:

– А я-то с какого боку?

– Парамон, останови его! – сказал Ануфрий прямо-таки умоляюще. – Ты же можешь! Ведь одолеют они нас, сволочи, в тайгу бежать придется – деревню точно пожгут...

– Уж это точно... – проворчал Парамон.

Отложил штуцер и вытянулся на земле, на сухой хвое, упершись локтями, чуть приподнявшись, неотрывно уставился на дорогу – по ней все так же неторопливо, чадая дымком, катил броневик, а по обе стороны дороги сторожко шли цепями казаки с солдатами. Ровным счетом ничего он не делал, и губы не шевелились – но смотреть на него Ануфрий не мог, он и сам потом ничего не сумел объяснить, одно говорил, пожимая плечами: «Черт его знает... Лицо у него стало такое, что смотреть не хотелось. Хищное, что ли...» Причем рассказывал редко, далеко не каждому. С моим отцом они были с детства особенно дружны, вот и рассказал чуть погодя под самогонку (отец тогда был молодым неженатым парнем, в стороне не остался, лежал с дедовым ружьем за сосной по ту сторону дороги).

Явственно долетел скрежет, противный металлический хруст – и броневик встал как вкопанный! Двигатель буквально взвыл – видимо, водитель сгоряча дал полный газ. Есаул оглянулся, но своих не остановил, и они продолжали продвигаться вперед. С двух сторон распахнулись броневые дверцы, выскочили двое без фуражек, в кожаных куртках, бежали вокруг застрявшего броневика, осматривали колеса – наверняка так же удивленно и безрезультатно,

раз. Сняли со всех сапоги, забрали, само собой, у казаков шашки – и побрели они пешедралом под свист и улюлюканье наших прямиком в уездный город.

Больше в наши края колчаковцы не совались, им стало уж совсем не до нас. А через пару месяцев красные их вообще прогнали на восток. А к Парамону боязливому уважения только прибавилось. Эту историю, как и прочие истории о нем, долго украдкой рассказывали, а во всех подробностях мне ее рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать. Пришли к нему тогда двое таких же бывших партизан, сели за самогонку, пошел разговор о партизанских временах. Посадили и меня с младшим братом за стол (нам, конечно, не наливали), вот отец и рассказал. А те двое его поддержали, мол, в точности всё так и было. Парамон тогда был жив, он умер в тридцать восьмом, уже в очень преклонных годах, я тогда уже уехал из деревни доучиваться в тот самый уездный город, что при Советской власти стал райцентром...

Интересно получается, правда? Крестьянская телега и броневик – как говорят в Одессе, две большие разницы. Но на них подействовало одно и то же... У нас никогда не говорили «колдовство» и уж тем более «заклинание». Говорили главным образом «наговор». Или так: «Пустил он что-то такое».

А если подумать, ничего удивительного. Вот если бы Парамон своим наговором на мотор подействовал, было бы, я думаю, гораздо удивительнее. А колесо и есть колесо, что у телеги, что у броневика... Верно? Вот видите...

На обратном пути у меня забрезжила идея, и я тут же взялся претворять ее в жизнь. Навестил оба соседних дома. В одном, где разместились наши минометчики, хозяев не оказалось – скорее всего, тоже подались в беженцы. В другом, занятом связистами, хозяйка оказалась на месте. Этакая бабушка – божий одуванчик. Она, как многие немецкие хозяева, не решившись пускаться в неизвестность, боялась наших жутко, не успела еще привыкнуть и ожидала самого худшего. В конце концов я ее все же разговорил; когда она убедилась, что меня интересует не ее скромная персона, а исключительно сосед, стала словоохотливой. Правда, пришлось выслушать длинный монолог на посторонние темы: ни покойный муж, ни единственный сын в партии никогда не состояли, профессия у сына исключительно мирная – мастер на паровозостроительном заводе и что-то давно не писал. Гитлера она крайне не одобряет и на выборах в рейхстаг никогда за наци не голосовала. Стандартный набор, в общем, – с кем из гражданских немцев ни заговори – терпеть не может Гитлера и неоднократно храбро думал про себя, что в России он шею свернет. И каждый второй если не за коммунистов голосовал, то уж за социал-демократов. Решительно непонятно в таком случае, куда подевались отдававшие голоса за Гитлера и прочий зверинец...

Только насчет соседа я не выяснил практически ничего интересного. Она его постоянно звала «герр доктор» – но не врач, а доктор каких-то наук – каких именно, она не знала. (У меня осталось впечатление, что она плохо разбиралась, какие вообще науки бывают на свете.) Вдовец, жена умерла еще до войны, лет восемь назад. Жил анахоретом, один-одинешенек. Почти никуда не выходил, нигде не служил, и, судя по его преклонным годам, он был на пенсии, или как там это называется у ученых людей. На улице появлялся очень редко – сущий затворник. Вот, собственно, и все, что она может сказать.

Ну, ничего удивительного, немцы жили по другим правилам – у них было не принято дружить с соседями, по-русски захаживать за солью или спичками и уж тем более вести задушевные беседы обо всем на свете. Да вдобавок герр доктор даже по немецким меркам жил сущим бирюком – старушка не видела, чтобы к нему кто-нибудь приходил в гости, не слышала, чтобы он с кем-нибудь прятельствовал...

Одну-единственную ниточку она мне все же дала: домашнее хозяйство у него вела некая фрау Шульц – что-то вроде приходящей экономки, домработницы, словом, прислуга за всё. Старушка с ней никаких отношений не поддерживала, но знала ее адрес – так что вам, герр офицер, лучше с ней поговорить, она наверняка сможет о герре докторе рассказать больше...

Герр офицер держался того же мнения, а потому я, откланявшись, пошел искать экономку. Очень уж меня заинтересовала диковина в подвале. А заняться все равно было нечем. Экономка, служившая у герра доктора «очень долго, лет пятнадцать, герр офицер», могла и знать что-то такое, во всяком случае, знала моего доктора Фауста (так я про себя стал его называть) лучше, чем соседка...

Увы и ах... Поплутав немного, я вышел к названному дому на Геринг-штрассе (большим оптимистом, должно быть, был тот, кто улицу так наименовал – ну конечно, свой рейх они пышно называли «тысячелетним», а все тысячелетие уместилось в двенадцать лет...). Но обнаружил там только десяток шоферов из автобата, заверивших: когда они сюда заселились, никаких хозяев не было. Судя по всему, хозяева, пожилая супружеская пара, ушли с беженцами. Оборвалась ниточка...

Ничего не попишешь, вернулся к себе несолоно хлебавши. Ребята мое указание старательно выполнили: свалили все «интересненькое» на столе в кабинете и разыгрывать воздержались. Только не оказалось там ничего интересного – серебряные ложки-вилки, бронзовые статуэточки, пара фасонных трубок, старый барометр в корпусе темного дерева, несколько хороших авторучек. Хлам, одним словом, не идущий ни в какое сравнение с диковиной в подвале. Сказал: могут разыгрывать сколько душе угодно. Не было смысла самому осматривать

Сам не знаю, что на меня нашло. Удивления не было – захлестнула злость на здешние диковины, несовместимые со всем прошлым жизненным опытом, недоступные человеческому разумению. И я, не размахиваясь, запустил часы в угол.

Стекло разлетелось с жалобным дребезгом, как и положено обычному стеклу. Я подошел, присел на корточки, посветил. Стекланные полушария разлетелись в мелкие осколки, песок лежал неподвижными кучками. Обычное стекло, обычный песок. Никакого сожаления, не говоря уж об угрызениях совести, я не чувствовал. Ну да, я своими руками уничтожил наглядное доказательство здешних непонятных чудес. И что? Что изменится оттого, что на эту диковину будут недоуменно таращиться не один человек, а десять? Двадцать? Какую такую пользу могло принести беспокойное море в сундуке и песочные часы, в которых песок струится не сверху вниз, как ему положено, а снизу вверх? И где искать на сумасшедших германских дорогах этого герра доктора, моего доктора Фауста?

И я взял себя в руки. Вернулся к столику, налил себе полную ликерную рюмку, до краев, и выпил, не закусывая. Выкурил трофейную сигарету, жадно глотая дым. Снял сапоги, разделся и улегся под роскошную немецкую перину. Заснул, как обычно, быстро, не ворочаясь.

Не запомнил, что мне снилось, но помнил, что какая-то спокойная ерунда. Проснулся от странного ощущения – показалось, что кто-то легонько потряс за плечо.

Было еще темно. И, кажется, далеко до рассвета – занавески я вечером не задернул, и в окно светила почти полная луна.

Меж кроватью и дверью кто-то стоял.

Стоял? Не вполне точное определение. Я видел лишь странный силуэт, напоминавший человека с утопленной в плечи головой, раза в два пошире человека и, пожалуй, головы на три выше. Он не смотрелся какой-то материальной фигурой – скорее уж сгусток темноты, чуть-чуть темнее ночного полумрака. Такое впечатление у меня отчего-то сразу сложилось, казалось, у него нет облика, один только силуэт, словно вырезанный из темноты. И примерно там, где у человека положено быть глазам, светились горизонтальной полоской три зеленоватых круглых огонька – неярким гнилушечьим светом. Это никак не могло оказаться человеком. Что-то другое.

Я смотрел на него, не в силах отделаться от ощущения, что оно тоже смотрит на меня. Страх не было ни капельки, ни малейшего. Удивления, как ни странно, – тоже. Может быть, после здешних диковин я уже не удивлялся чему бы то ни было. Полное отсутствие эмоций и чувств. Странное спокойствие, как будто заранее знал, что не нужно ни бояться, ни удивляться – следовало принимать это таким, какое оно есть.

И я сделал нечто поразительное для меня самого. Не верил ни в бога, ни в черта – и сейчас не верю, никогда не молился и не крестился. Но сейчас выпростал правую руку из-под перины и размашисто перекрестил это непонятное создание.

И – ничего. Оно высилось на прежнем месте, неярким гнилушечьим светом горели три огонька, и прежнее ощущение не проходило – казалось, меня внимательно разглядывают, глядя, как и я, без малейших эмоций и чувств, с таким отстраненным любопытством.

А дальше... Дальше я действовал, как исправный механизм с заведенной полностью пружиной. Полез под подушку, пистолет оказался там, где я его вчера положил. Прикосновение к прохладному металлу окончательно убедило, что я не сплю, что мне не снится, как это иногда бывает, чертовски реалистичный сон, что вокруг и есть реальность. Патрон был у меня в стволе, я снял курок с предохранительного взвода – в тишине негромкий металлический щелчок прозвучал выстрелом, – держал пистолет дулом вверх (как статный дуэлянт – просквозила идиотская мысль), не сводя глаз с загадочного ночного гостя.

Оно не пошевелилось. А потом... Не знаю, как это объяснить, как такое может быть, но я увидел тихий смешок. УВИДЕЛ. Смех можно только слышать – но я его неведомо как именно что увидел...

А потом оно исчезло – словно повернули выключатель. Окончательно уверившись, что это мне не приснилось, я поступил так, как частенько русские люди поступают в трудную минуту жизни. В бутылке «киршвассера» оставалась примерно половина, я набуровил рюмку до краев и ахнул единым духом. Налил вторую – и отправил ее по принадлежности. А что еще было делать? Убрал пистолет под подушку, лег и провалился в сон, едва наступило «взаимодействие щеки с подушкой». Вот в этом как раз не было ничего странного: от чего мы не страдали на войне, так это от бессонницы. Пользовались любой возможностью задать храпака. Дрыхли и под близкую пушечную пальбу, и под грохот танков, и под шум вокруг.

А вот сон приснился насквозь странный...

Я шагал неизвестно куда в толпе беженцев. В точности таких, как я навидался в Германии: мужчин всех возрастов, способных держать оружие, практически нет, разве что калеки или инвалиды. Старики, женщины и дети, редко-редко подростки – они и подростков, почти детей, загоняли в фольксштурм. Кто с маленькими узелками, кто с большими узлами, кто с пустыми руками.

Того, кто шагал рядом со мной, я почему-то не видел, но отчего-то совершенно точно знал, что это мой доктор Фауст. Мы разговаривали – но потом, проснувшись, я не помнил ни единого словечка. Знал лишь, что беседовали мы вполне мило и оживленно, словно старые добрые знакомые.

Потом появилась колонна «тридцатьчетверок» – и один танк покатиł прямо на нас. А у меня словно ноги к земле приросли, я шага сделать не мог, не то что отпрыгнуть. Видел совсем близко его мощный лобешник, глубокие царапины от осколков на облупившейся защитной покраске, блестящие гусеницы – правая накатывалась прямо на меня.

Проснулся я как от толчка. Светло было почти как днем, но не от утреннего солнышка... Комната горела. Горели, как порох, высохшие за столько лет деревянные темные панели, которыми были обшиты стены, горела этажерка, горели отдернутые занавески на окне, горело низкое кресло. Кровать, ночной столик и дверь пламя не затронуло.

Странное какое-то было пламя: совершенно бездымное, пронзительно-желтое, этакое рыже-золотистое, острыми языками вздымавшееся под самый высокий потолок. И в углу над осколками разбитых вдребезги песочных часов стоял язык пламени в половину человеческого роста...

Некогда было рассуждать. Удушливо тянуло горелым. Я кубарем скатился с постели, схватил галифе. На войне привыкаешь быстро одеваться по тревоге, но я побил все рекорды скорости. Прямо-таки запрыгнул в галифе, заскочил в сапоги, не озаботившись наматыванием портянок, в секунду напялил гимнастерку, ухитрившись не спутать перед и зад, чисто машинально накинул португее, застегнул ремень – туго, так что дыхание перехватило. Выхватил из-под перины покрывало, нацелившись сбивать огонь, чисто инстинктивно – стены занялись от пола до потолка, просто удивительно, как до сих пор сухой, как старая кость, паркет не загорался...

Дверь распахнулась, громынув об стену. Влетел Гоша Сайко – на плечах автомат и вещмешок, в руках скомканная шинель. Заорал с порога:

– Командир, весь дом полыхает сверху донизу! Тикать надо, а то сгорим на хер!

В коридоре бухали сапоги бегущих. Весь дом?! Ничего я в таком случае не сделаю этим покрывалом – а вот пол может вот-вот заняться, лестница на первый этаж тоже выложена деревом, так что окажемся в ловушке... Гоша нетерпеливо топтался на месте. Я отшвырнул бесполезное покрывало, затолкнул пистолет в кобуру (не тратя времени, чтобы ее застегнуть), нахлобучил фуражку, сгреб автомат, вещмешок и шинель. Гоша выскочил, я бросился следом.

И точно, весь коридор горел, рыжее гудящее пламя лизало стены сверху донизу, перекинулось на обшитый деревом потолок, но пол пока что не затронуло. Навстречу нам выскочил Леша Тарасюк, обеими руками держа перед грудью свои пожитки, завопил ошалело:

– Как можно, тарищ капитан? – ответил Гоша с прежней своей развальной (похоже, полностью опаматовался). – Не дети малые и не разгильдяи...

Таласбаев буркнул что-то невразумительное, посмотрел на дом. Я тоже. Золотистое пламя уже плясало за чердачным окном, а наружу так и не выбилось, представьте себе.

– Пожарная команда – ноль один, – произнес чей-то незнакомый голос.

Насмешничал, стервец. Откуда здесь и ноль-один, и пожарная команда? Даже если в городке сыщется одна-единственная пожарная машина (от аккуратистов немцев можно ожидать), пожарная команда, ручаться можно, дежурить и не думает – не та обстановка, чтобы соблюдать строгий немецкий орднунг...

– Разговорчики вне строя... – беззлобно одернул Таласбаев. – Так, вот что... Где теперь думаете квартировать, старший лейтенант?

– У меня разместим, – сообщил Абрамов. – Потеснимся...

– Тоже выход... Старший лейтенант, поставьте у двух соседних домов по двое дозорных. Пока не прогорит. А то еще пламя перекинется. – Он словно прочитал мои мысли. – Почему вы? А потому что вы... – по-моему, он подыскивал слова. – Потому что вы некоторым образом за этот дом отвечали.

– Будет исполнено, – хмуро сказал я.

Были у меня подозрения, что на этом дело не кончится...

В военную пору была у нас одна песня... Хотите послушать слова целиком?

Первая болванка попала танку в лоб,
механика-водителя загнала сразу в гроб.
От второй болванки лопнула броня,
мелкими осколками поранило меня.
Третья болванка угодила в бензобак,
выбрался из танка сам не знаю как.
А наутро тянут меня в особотдел:
что же ты, зараза, вместе с танком не сгорел?
Не волнуйся, милый, – ему я говорю, –
в завтрашней атаке до пуговиц сгорю.
И назавтра слово я свое сдержал:
на опушке леса вместе с танком догорал...

Песню эту я два раза слышал от танкистов, всякий раз под баян. И всякий раз подальше от начальства: ни отцы-командиры, ни особисты песню эту категорически не любили и, если узнавали, реагировали сурово. Сержанта, баяниста и главного певуна во взводе мурыжили с неделю. Под трибунал не отдали, в штрафную роту не закатали, но срезали все до единой лычки и собирались уже исключить из кандидатов в члены партии – да, на его счастье, вскорости состоялся бой, где он, механик-водитель, показал себя самым лучшим образом. Впору было награждать, но наградой его обошли, зато и из кандидатов не поперли...

В общем, уже к обеду меня, как выражались в старину, потянули на спрос, к капитану Таласбаеву. Он был казах, но ничуть не походил ни на тупого «чурку» из анекдотов, ни на идиота-садюгу, какими смершевцев в последнее время огульно изображают. Умный был мужик, цепкий, хваткий, три награды имел и погиб в Висло-Одерской операции, не в безопасных тылах отираясь, а будучи на передке. Попортил он мне тогда крови, но все равно земля пухом...

Очень быстро определилось направление разговора... Сначала капитан стелил мягко: сказал, что я в полку не просто на хорошем счету, на отличном, воевал исправно, в партию вступил в тяжелое время да вдобавок в «нашей системе», как он выразился, в некотором роде свой...

Что имелось в виду? Судьба моя военная два раза выписывала зигзаги, сугубо в положительном смысле. Войну я начал зимой сорок первого под Москвой, а весной сорок второго меня, красноармейца стрелкового взвода, выдернули в тыл. Как бы там ни лили грязь на Сталина, а человек был умнейший и умел заглядывать далеко вперед. В период тяжелейшей ситуации на фронте издал приказ: всех, у кого имеется законченное среднее образование, снять с передовой и отправить на офицерские курсы в тыл. Младших командиров была катастрофическая нехватка что в Первую мировую, что в Отечественную, их в первую очередь выбивало. Ну а у меня даже незаконченное среднее – три курса института. Двухмесячные ускоренные курсы – и одна звездочка на погоны. По-старорежимному – прапорщик, а теперь, как у нас шутили, микромайор. Новоиспеченных младших лейтенантов, как правило, отправляли командовать взводами.

Только мне принять взвод не пришлось – определили в особый отдел, я так полагаю, за приличное знание немецкого. Приказы, как известно, не обсуждаются. Служил я, смею думать, исправно, там и первый орден получил к имевшимся уже двум медалям, но душа у меня к этой службе не особенно и лежала. Постараюсь пояснить. В последние годы хлынула поганая волна на особистов и смершевцев – якобы они окопались в тыловых блиндажах, только тем и занимались, что палили из пулеметов в спину собственным солдатикам да шили липовые дела безвинным...

Простите великодушно, чушь собачья. Главным делом была борьба с немецкими диверсантами и агентурой. Диверсантов было немало, и они ничуть не напоминали растяп-идиотов из тогдашних «Боевых киносборников» – хваткое было зверье, так просто не одолеешь. И агентуру немцы засылали в массовом порядке, в том числе и подростков. Тут тоже работы хватало.

А заградотряды... Без них тогда было не обойтись, в том или ином виде они были во всех армиях. Что греха таить, в первый период войны наши и отступали без необходимости, и бросали позиции. Ласковыми уговорами и призывами к сознательности тут было никак не обойтись. На войне как на войне... А что до стрельбы в спину – тут изрядно преувеличено. Вот подумайте сами: начало наше подразделение, деликатно выражаясь, неорганизованный отход, а проще говоря, драп. Порезали их из пулеметов до последнего человека злобные особисты. И что? А то, что особисты сами окажутся лицом к лицу с наступающими немцами... Кому это надо? Так что стреляли поверх голов, но не всегда. Случалось еще, что в «паникеры и дезертиры» люди попадали совершенно безвинно – и порой с самыми печальными для них последствиями. Что греха таить, случалось и такое...

Была и другая сторона вопроса – наши секретные осведомители в войсках. Вы знаете, я, как и тогда, четко их делю на две категории – информаторы и стукачи. От первых была только польза. Вот, скажем, некий полковник вместо того, чтобы руководить вверенной ему частью, приземляется в блиндаже с санинструкторшей и дня три лакает там водку. Или другой устраивает себе личное коптильно-колбасное заведение. Или мародерствует с использованием подчиненных так, что это выходит за всякие разумные мерки взятия трофеев. Вы лично бросите камень в человека, который обо всех этих недопустимых безобразиях просигнализировал особистам или смершевцам? Вот видите...

Стукачи – совсем другой коленкор, из-за них попадали под раздачу те, кто этого никак не заслуживал, вроде того сержанта-танкиста. Не ту песню спел, не те настроения высказывает, по неосторожности брякнул лишнего – и пошла писать губерния, на такие вещи тоже полагалось реагировать со всей серьезностью и суровостью...

Вот это мне и было не по нутру – вербовать осведомителей, возиться со стукачами. Иному дать бы в рыло и выкинуть из блиндажа, да где там – трудолюбиво записывай его слова на бумагу и давай делу ход...

Не нравилась мне эта полицейская работа. И весной я добился своего с помощью парочки хитрых маневров, о которых говорить не будем, чтобы не отклоняться от темы. Хитрые были

маневры, но, честное слово, без капли подлости. В общем, весной сорок третьего перевели в полковую разведку, где я и провоевал до конца войны. Вот если бы я в тыл стремился, тогда да, была бы подлость, а в том, чтобы посредством хитрых ходов попасть на гораздо более опасный участок фронта, никакой подлости нет...

Вот из-за этой части моей военной биографии Таласбаев меня и назвал «в некотором роде своим». Только моего пикового положения это нисколько не меняло – очень быстро выяснилось, что загоняет он меня в капкан. Он не кричал, не страшал, не стучал кулаком по столу – не тот был человек. Однако, не повышая голоса и не оскорбляя, шел к своей цели. А цель была такая... Лично меня он ни в чем не винил, но не обстояло ли дело так, что кто-то из моих ребят, перебрав спиртного, спьяну дом и поджег? Скажем, перевернул керосиновую лампу, когда завалился дрыхнуть?

Тут свои нюансы. Разумеется, никого не волновало, что из-за пьяной неосторожности мирный немецкий обыватель понес нешуточный материальный ущерб. Кого бы это тогда волновало? Тут другое: советский солдат спьяну поджег и спалил дотла дом, в котором квартировал, а это уже ЧП, требующее расследования и серьезного наказания. И в первую очередь огребет командир, допустивший такое во вверенном ему подразделении. И как в таких случаях бывает, все прежние заслуги роли не играют, наоборот – кому много дано, с того много и спросится. Непосредственный виновник, конечно, тоже свое получит, но и отцу-командиру придется несладко...

Не скажу, что я заранее предвидел подобный оборот дела во всех деталях, но, зная родные конторы, допускал, что может дойти и до такого. А потому кое-какие «домашние заготовки» сделал. Так что был отнюдь не удивлен и уж тем более не озадачен. Продумал, что врать в случае чего – причем проверить меня было никак невозможно, взятки гладки...

Главное было – не спешить, не оправдываться взахлеб, говорить этак степенно, как можно более убедительно. В свое время я в особом отделе не один допрос провел, да и потом пленных допрашивать случалось. Так что в роли допрашиваемого я отнюдь не был ни слепым котенком, ни невинной девочкой – пусть и оказался в этой роли впервые...

– Товарищ капитан... – Я старался говорить рассудочно, неторопливо, словно обвинение таковое оказалось для меня полнейшей неожиданностью, – уж извините, но концы с концами у вас не сходятся. Вы очень быстро на пожар приехали, видели меня и моих орлов. Походил кто-нибудь из нас на вдрызг пьяного, которого после пожара на ноги поставили?

– Вообще-то никто не походил, – признал он. – Однако запах от вас, старший лейтенант, исходил явственный. И от парочки ваших разведчиков тоже...

– Было дело, не отрицаю, – сказал я. – Запашок был, пьяных в хлам не было. Всего-то употребили законную наркомовскую норму. И потом, я на свежую голову кое-что обдумал... Непростое тут дело, режьте меня, непростое...

Как я и надеялся, он проглотил наживку:

– Что вы имеете в виду?

– Мои ребята клянутся и божатся, что пламя не в одной какой-то комнате возникло, а словно бы во всех сразу, так что моментально занялся весь дом, как пучок соломы. И я им верю по одной-единственной, но чертовски веской причине: со мной было в точности то же самое. Проснулся – а комната полыхает вовсю. Причем пламя, как бы это сказать, было какое-то... странное, что ли. Словно бы даже не по естественной причине возникшее. Таким оно мне и потом показалось, когда выскочили на улицу. Вы там пробыли достаточно долго. Вам самому не показалось, что с этим огнем что-то не то? Что не так уж он и похож на обычный пожар из-за, скажем, опрокинутой горячей керосиновой лампы?

– Предположим... – сказал он, чуть подумав. – Допустим... Ну, и какая у вас версия произошедшего? Не поверю, что у вас версии нет. Вы как-никак бывший особист, кое-какие

рефлексы должны в подсознании остаться. Если это не пьяное разгильдяйство кого-то из ваших подчиненных, то что?

Как вы полагаете, я ему мог рассказать про часы и кусочек моря, от которых и следа не осталось? Про моего загадочного ночного гостя, которого никто, кроме меня, не видел? Правильно, не мог. Он бы мне в лицо расхохотался, как и я на его месте...

Наступил, пожалуй, самый опасный момент разговора. Предстояло врать напропалую, причем с честнейшим лицом...

– Конечно, есть версия, – сказал я. – Успел все обдумать и проанализировать. Понимаете, товарищ капитан, немец, хозяин дома, сдается мне, был персоной оч-чень непростой. Ученый муж – да, несомненно. Но уж никак не обычный профессор кислых щей – с ним все гораздо интереснее обстояло...

– А поконкретнее? Почему вы пришли к такому выводу?

– Потому что успел немного покопаться в его библиотеке, – ответил я уверенно. – Художественной литературы там было очень мало, в основном чисто научная. Но дело совсем не в книгах... У него две немаленькие полки занимали картонные папки, пухлые такие. Я вытянул парочку, на них были одинаковые штампы: нацистский орелик и большими буквами СЕКРЕТНО.

– Вот даже как? – в глазах у него, я не мог ошибиться, вспыхнул огонек профессионального любопытства. – И что было в папках? В жизни не поверю, что вы их поставили назад, не заглянув. А по-немецки читаете прилично...

– Конечно, полистал документы, – сказал я. – Только ни черта в них не понял. Видите ли... Если бы там речь шла о каких-то технических, инженерных проблемах, я это непременно определил бы, как-никак три года проучился на инженера. Ничего подобного. Исключительно какие-то гуманитарные дела. А они для меня – темный лес. Какая-то высокопробная гуманитария. Каждое слово по отдельности вроде бы и понятно, а все вместе – головоломка, шарада, ребус. Несколько раз пытался добросовестно вникнуть, но понял в конце концов, что ничего не пойму...

– Почему не сообщили сразу? Вы же знаете приказ: при обнаружении каких-то научных или технических разработок немедленно ставить в известность надлежащие органы.

– Потому что ситуация совсем не подходила под определение «немедленно». До библиотеки я добрался, когда был поздний вечер. Вот и решил, – я старательно изобразил виноватую улыбку, – что дело вполне может подождать до утра. Конкретного приказа насчет этой именно библиотеки у меня ведь не было. И потом, это были не какие-то секретные технические чертежи, совсем другие бумаги, с какой-то гуманитарной заумью. Вот я и решил подождать до утра, а уж утречком взять машину, погрузить всё это добро и отвезти к вам. Кто же знал, что ночью все полыхнет ясным пламенем...

– Ну а ваша версия происшедшего? – спросил он настойчиво. – Неужели на том, о чем говорили, версию и оборвали? Плохо верится.

У меня и на этот счет было припасено убедительное вранье.

– Конечно, не оборвал, – сказал я. – Версия такая... Получается, что этот старичок-боровичок плотно занимался чем-то секретным. С профессорами кислых щей такое тоже случается, и не в одной Германии. Кстати, очень убедительное прикрытие: пенсионер, нелюдим даже по немецким меркам. Ну вот... Архив собрался богатый. Вывезти его немцы не успели, не дали мы им такой возможности своим быстрым наступлением. Но такой вариант развития событий, похоже, заранее предусмотрели, аккуратисты. И смонтировали в доме какое-то зажигательное устройство, скорее всего, с часовым механизмом. Перед тем как пуститься в бега, немец его и включил. И ведь все верно рассчитал, сволочь. По чистой случайности там оказался я с моим немецким. А могли попасть туда на постой и простые солдаты, знанием языков не обременен-

ные. В этом случае еще неизвестно, сколько бы времени прошло до того, как знающий человек обратил бы внимание на архив. Вот такая версия...

Он минут несколько напряженно раздумывал, морща лоб, не глядя на меня, выкурив подряд две папиросы. Потом сказал:

– Ну что ж, толково, сразу видно бывшего особиста. Как в том анекдоте: это талант не пропешь, а вот фисгармонию запросто... Как ни ломаю мозги, не получается найти что-то в опровержение вашей версии или выдвинуть свою. – Он энергично встал. – Сейчас вызову машину и съездим на место...

У меня осталось впечатление, что он скомкал концовку – «для очистки совести». В самом деле, а для чего же еще?

Погрузились в «виллис» с пропуском на лобовом стекле «Проезд всюду», наискось перечеркнутым красной полосой. За рулем сидел незнакомый старлей, явно новичок у нас. В дом пошел вместе с нами. То еще оказалось зрелище. Остался только камень, а все, что могло гореть, сгорело начисто – пол, деревянная обшивка стен, потолка и лестницы, мебель, шторы и постель. Повсюду лежал толстенный слой пепла, противно скрипевшего под нашими сапогами, нигде ни огонька, ни дымка, только, как и следовало ожидать, гарью удушливо воняло. Равным образом и от библиотеки не осталось ни следа, ни от книг, ни от полок, ни от монументального письменного стола – один только пепел. Нечего было осматривать. Управились быстро – во все остальные комнаты Таласбаев заглядывал мельком, нечего там было смотреть.

Да, а подвал не горел, и кладовочка с тамошней продуктовой роскошью сохранилась в полной неприкосновенности. Чтобы закрепить мою версию, я сказал:

– Вот видите, товарищ капитан, какое богатство. У простого немца при их карточках и эрзацах такому взяться неоткуда. А вот у полезного засекреченного спеца – запросто.

– Очень может быть, – буркнул Таласбаев.

Судя по цепкому взгляду, который он кинул на бутылки (на первом плане красовались две пустые), нисколько не верил, что вчера мы ограничились наркомовской нормой. Ну и наплевать, главное, он явно не верил в версию о пьяных раздолбаях, подпаливших дом. Я так думаю, он тоже с превеликим удовольствием положил бы в вещмешок что-то из здешних деликатесов, но несолидно было бы в присутствии младших по званию.

– Очень может быть, – повторил он. – Ну что же, зачем добру пропадать. Заберите все отсюда в качестве допайка. Только с некоторыми уточнениями...

Он взял у старлея ППС, велел нам отступить к двери, отошел сам и пустил длинную очередь по батарее бутылок, вмиг расколошматил, варвар и садист, все до единой, полные и пустые. Искоса глянув на старлея, я увидел на его лице плохо скрытое сожаление – он, как и я, несомненно, был горько удручен таким вот вандализмом. Вполне возможно, и самому Таласбаеву это было не по нутру – никогда среди трезвенников не числился, – но положение обязывало...

Когда вернулись в «Смерш», Таласбаев тщательно запротоколировал мою версию о секретных трудах немца и зажигательном устройстве и дал мне подписать. Я подписал с легким сердцем – речь шла не о каких-то фактах, которым я давал бы ложное истолкование, а исключительно о моих догадках – при полном отсутствии вещдоков, им бы противоречивших. Он, как нетрудно было догадаться заранее, вызывал всех восьмерых моих орлов, допрашивал поодиночке. Все они говорили одно и то же, то есть чистую правду: что одновременно запольхало по всему дому, так что пьяным случайным поджогом это никак не объяснить. Он составил еще протокол осмотра дома, под которым подписались все трое. А через три дня вызвал к себе и суховатым тоном обрадовал: ни к кому из нас девятерых нет никаких претензий, дело закрыто...

И в самом деле, меня до самой демобилизации весной сорок шестого никто так по этому делу и не побеспокоил. Уже тогда я понимал логику таласбавского начальства, потому что сам

на его месте рассуждал бы точно так же. При полном отсутствии вещественных доказательств никто не стал бы устраивать по всей Германии грандиозную облаву на моего доктора Фауста. И никто бы не взял на себя мартышкин труд – посылать саперов, чтобы искали тайники, где могло бы помещаться это выдуманное мною «зажигательное устройство». Какой смысл? Разве что для полной очистки совести составить еще один протокол осмотра, и не более того. Но начальство явно решило, что вполне достаточно уже имеющихся бумаг, и закрыло дело к чертовой матери, хватало других, насущных и важных...

А я... Ну, что – я? Вернувшись домой, с началом нового учебного года без труда восстановился в институте, на четвертом курсе. Поначалу пришлось трудненько, очень многое подзабыл, за исключением немецкого, но ничего, поднапрягся и справился. Моя гражданская биография ничем оригинальным не отмечена: закончил институт, женился, дети пошли, до пенсии проработал инженером последовательно на трех заводах, получил три трудовые награды, внуки пошли, дачку обустроил... Ровным счетом ничего интересного.

Один-единственный раз в жизни приключилось со мной тогда, в Германии, нечто понастоящему Необыкновенное. И я нисколько не жалею, что один-единственный раз. О Необычайном интересно читать в книгах и журналах, а в обыденной жизни оно мне совершенно ни к чему, такой уж я скучный технарь...

Мои соображения, появившиеся уже потом? Есть такие... Никак не скажу, что я об этой истории думал постоянно, хватало других, чисто житейских хлопот, но периодически мыслями к ней возвращался. Что интересно, всякий раз, почти без исключений, в День Победы, когда случалось крепенько выпить с такими же, как я, и в голову косяком приходили фронтовые воспоминания. В том числе о том доме, о диковинах в нем. Нет, никому я эту историю не рассказывал, ни за что не поверили бы. Из разведчиков моих к Победе осталось только пятеро, Гоша Сайко, Марат и Мусин погибли в Берлине, а остальные своими глазами видели только странный пожар – тогда же я и Гоша с Мусиным порешили ни о чем остальным не рассказывать...

Так вот, мои соображения... Хотя я и мысленно прозвал немца моим доктором Фаустом, категорически не верю, что ко мне ночью приходил Мефистофель или иная нечистая сила. Дело еще и в том, что, сколько я ни читал о всевозможной нечистой силе, не встретил и отдаленно похожего упоминания об этакой вот ее разновидности. Знаете, что самое занятное? Что я тогда пытался прогнать нечистую силу, в которую не верю, с помощью крестного знамения, в которое тоже не верю. Может, потому и не подействовало крестное знамение, что я неверующий? Ну, это я не всерьез, так, шутка юмора...

Если же серьезно, есть другая версия, гораздо более предпочтительная для сугубого технаря. Доктор Фауст был связан с пришельцами из какого-то другого мира. Может, инопланетяне, может, обитатели иных измерений. Наука пока что не подтвердила их существование, но теоретически допускает, а это уже совсем другое дело, не то что все рассуждения о нечистой силе...

Мысли такие возникали у меня и раньше, когда стали много писать об инопланетянах и тому подобных вещах – о параллельных мирах, иных пространствах. Почему нет? Вполне материалистическая, рационалистическая, логически непротиворечивая гипотеза, разве что научного подтверждения пока что нет, но разве такое впервые случается? Сегодня нет, а завтра, глядишь, появится...

А особенно я в этой мысли укрепился, когда прочитал несколько лет назад один фантастический роман, американский. Фантастику я в руки беру не так уж часто, но все же случается. Это старший внук у меня большой любитель фантастики, ему я все книги, что сам прочитал, и отдаю.

Ни автора, ни названия не помню, но сюжет помню хорошо. Суть такова. Живет в американской глубинке ничем не примечательный, незаметный мужичок. Вот только в доме у него – своего рода явка космических пришельцев, этакая перевалочная база, вокзал для самих при-

шельцев и их грузов. Вот вы профессионал в своем деле, то бишь именно что в фантастике. Может, знаете, о какой книжке идет речь? Ага! Клиффорд Саймак «Перевалочная станция»? Точно он? Ну что ж, профессионалам нужно верить.

Коли уж вы эту книгу знаете, прекрасно понимаете, что я имею в виду. Мой доктор Фауст был вроде резидента у пришельцев неведомо откуда, а его дом – то же, что явочная квартира. Почему бы и нет? Тут, правда, возникают вопросы, на которые ответа не доискаться. Вот, скажем, такой... Какое практическое значение с точки зрения технаря имели море в сундуке и часы, в которых песок течет не вниз, как ему положено, а вверх? На мое разумение, никакого. А на деле – кто ж его знает? Может, какой-то и имело...

И я не могу избавиться от такой мысли: в доме, кроме загадочного сундука и песочных часов, было еще что-то, нечто, говоря языком технарей, стационарное, что никак не должно было попасть в чужие руки. Иначе зачем они сожгли дом? Между прочим, я стопроцентно уверен, что они не хотели нас убивать. В пользу такого предположения – то, как разгорался пожар. Думаю, им было вполне по силам сделать так, чтобы мы оказались вроде мышек в высокой пустой кастрюле, стоящей на огне. Но все было иначе. Горели стены и потолок, мебель, библиотека, но пол, двери и лестница оставались нетронутыми. Никто из нас даже самую малость не обжегся. Полное впечатление, что нам оставили путь к отступлению, да что там – к бегству. А «путь отхода» запылал уже потом, когда мы пулей вылетели из дома...

Почему доктор Фауст сбежал, оставив все в доме? А может, и не поперся с беженцами по путаным военным дорогам? Может, они его попросту забрали к себе, чтобы пересидел там тяжелые времена? Почему в таком случае не забрали все Непонятное? Откуда ж я знаю...

Знаете, что самое интересное? Может быть, эта явка, резидентура эта – не единственная? Может, такие и сейчас существуют? Теоретически рассуждая, все можно допускать. Скажем, что в этот самый момент в соседнем доме, а то и в моем, а то и в вашем одна из квартир – именно что явка. Обитает там, абсолютно к себе внимания не привлекая, тихий, благонаправный, неприметный хозяин... ну, или хозяйка. А в квартире той – разные диковинные вещички, которых-то и на свете быть не должно. Скажете, чересчур фантастично? Вовсе даже нет? Вот видите...

И ведь вычислить такого резидента нет ну никакой возможности...

Что бывает в океане

Случилось это в конце весны шестьдесят второго года. Когда вовсю разворачивалось то, что потом назовут Карибским ракетным кризисом. Среди посвященных в СССР это именовалось по-другому – операция «Анадырь» по доставке на Кубу ядерных ракет, фронтовых бомбардировщиков и воинского контингента. Любая мало-мальски крупная операция у военных в любой стране получает официальное название – а эта была не из мелких, к тому же первая такая (да пожалуй что, пока и последняя такого размаха).

Придумал все, что довольно известно, Хрущев. Если вам интересно, расскажу немножко о своем отношении к этому субъекту. Хрущева я, как многие, военные особенно, терпеть ненавижу. За все, что он наворотил – в массовых репрессиях участвовал так, что его сам Сталин одергивал. Кукуруза, целина, подаренный Индонезии целый военный флот, Золотая Звезда Насеру, который своих коммунистов пересажал по тюрьмам, жирная помощь всем, кто себя на словах объявлял большими друзьями Советского Союза... Ну а уж сокращение армии! Ни много ни мало на миллион двести тысяч человек. Среди военных даже поговорка ходила: «Суд офицерской чести – и миллион двести». Причем людей просто-напросто вышвыривали на улицу без всякой пенсии для тех, у кого подошел срок. Молодым было легче, они еще как-то устраивались, а вот пожилые... А пожилым пришлось гораздо хуже. Вы себе только представьте: служит человек, которому до пенсии осталась всего-то пара лет. Отечественную прошел, а то и еще пару-тройку войн помельче, никакого другого ремесла, кроме военного дела, не знает, и переучиваться чему-то новому поздно. А его р-раз! – за шкуру и на улицу, как нашкодившего кутенка. Без копейки пенсии, а то и без крыши над головой. Иди куда хочешь и живи как знаешь. Сторожами становились, дворниками... Ничего ведь больше не умели. Самоубийства были...

И если бы только людей... В массовом порядке гробили военную технику, причем ничуть не устаревшую. Новехонькие военные корабли на металлолом резали, танки гнали на переплавку, как стадо овец на бойню, самолеты уничтожали авиаполками. Мяли хвосты танками, а потом тоже на переплавку.

Всё почему? Потому что лысому в башку стукнула очередная блажь: если уж есть ракеты, то на них и следует делать основной упор, а остальные рода войск нужно сократить до передела. Ни в одной другой армии мира такого дурдома не было. Эх, как военные, отставные и оставшиеся в рядах пили с радости, когда Никитке дали под зад коленом!

Но при всем при том! Одно-единственное хрущевское решение я всецело одобряю и безоговорочно поддерживаю: наши ракеты и самолеты на Кубе. Хотя некоторые и говорят, что это была авантюра, никогда с этим не соглашусь. По моему глубокому убеждению, ничего подобного. Американцы к тому времени очень уж обнаглели, лезли в каждую бочку затычкой, базы устроили по всему свету, ядерные ракеты в Турции разместили, так что держали под ударом и Москву, и Питер, и много чего еще. И вдруг – такая плюха по самолюбию, наотмашь, в морду! Всего-то в девяносто километрах от берегов США – советские ядерные ракеты и бомбардировщики Ил-28, которые, к слову, могли нести и атомные бомбы. В конце концов мы их оттуда убрали, но ведь и американцы убрали из Турции свои ракеты, да вдобавок клятвенно пообещали больше на Кубу не нападать, ни своими силами, ни руками кубинских контрреволюционеров. Так что от операции «Анадырь», меня никто не переубедит, была большая польза. Единственное хрущевское начинание, от которого получилась польза...

Я тогда был майором, командовал ракетным дивизионом. Отечественную прошел артиллеристом, а потом переучился на ракетчика, благодаря чему не попал под то самое сокращение (даже эмблемы на петлицах и погонах менять не пришлось – у ракетчиков остались те же самые скрещенные пушечки). Вот и плыл на Кубу со всем своим «хозяйством» и подчиненными. Как

именно доставляли на Кубу ядерные боеголовки к нашим ракетам, я и тогда не знал, и сейчас не знаю – об этом никогда ничего не писали, хотя кое-какие воспоминания об операции «Анадырь» уже увидели свет, о боеголовках ни разу ничего не писали.

Тактическая ракета – штука громоздкая, на части ее не разберешь и в трюм не спрячешь. Везли их в контейнерах на палубе. О чем американцы были прекрасно осведомлены – их авиаразведка работала четко. Когда мы проделали примерно три четверти пути до Кубы, над нами тоже стали кружить самолеты, чуть ли не над верхушками мачт кружили, должны были сообщить, что в контейнерах. Но, разумеется, никаких силовых акций не предпринимали – это означало бы настоящую большую войну, быстро переросшую бы в ядерную, на что они так и не решились.

Словом, ходили буквально по головам, как «мессершмитты» в сорок первом, разве что не стреляли и не бомбили – правда, тогда у нас не было твердой уверенности, что вовсе не станут стрелять или бомбить. К тому времени состоялся уже не один натуральный воздушный бой с вторгавшимися в наше воздушное пространство натовскими военными самолетами, так что следовало ожидать самого худшего поворота событий. И нервы были на пределе, трюм – зазвенят. Руки чесались засадить очередному нахалу очередь в брюхо, но на чисто гражданских судах не было ни зенитных пушек, ни пулеметов, не то что в Отечественную. Имелось у нас пятнадцать автоматов, американцы летали так низко, что их можно было достать и из офицерских пистолетов. Но все мы получили строжайший приказ: за один выстрел по самолетам – трибунал. Ограничилось всё тем, что пару раз ухари-матросики показывали самолетам голую задницу, пока это не пресек их замполит. Да еще однажды штурман, тщательно всё рассчитав, пустил прямо по курсу низко летевшего самолета зеленую ракету – как он, стервец, шарахнулся! Потом, я слышал на Кубе, штурману за эту проказу вlepили строгача по партийной линии, но тем всё и кончилось – еще и оттого, что, как рассказывали моряки, официального запрета на такое не было, видимо, никто не предусмотрел изобретательность русского человека, советского моремана...

Личный состав, одетый в штатское, сидел в трюме. Мне пришлось полегче, я как командир обитал в каюте судового врача, а вот моим подчиненным пришлось несладко: в трюме стояли жара и духотища. Масло таяло, шоколад, если не съели сразу, ломали в кружку и потом черпали его ложкой или наливали туда чай. Но, что характерно, так и не было ни одного случая обмороков. В точности как на войне, когда мы начисто забыли о «мирных» хворях вроде простуды, поноса и прочих хворобах довоенного времени. А мы себя чувствовали именно что как на войне, никто тогда не знал, грянет она в конце концов или нет, но внутренне все готовы были к самому худшему...

Показываться на палубе в дневное время личному составу было категорически запрещено. Только ночью с темнотой группочками поднимались из трюма глотнуть малость свежего воздуха. Дисциплина была на пятерку, так что мне, «военному коменданту судна», и не приходилось прилагать особенных усилий по ее поддержанию. Вообще-то никаким «военным комендантом судна» я не был, в Уставе гарнизонной службы такая должность не предусмотрена, да и наше подразделение никаким таким «гарнизонам» не было. Так меня в шутку прозвал капитан, так пару раз и называл. Я на него нисколько не обиделся, шутил он беззлобно, да и мужик был примечательный – старше меня лет на десять (я сам с двадцать второго года), войну закончил командиром торпедного катера на Балтике, имел боевые награды, на гражданку ушел только в пятидесятом, третьим помощником на грузовоз, до капитана вырос, Трудовое Красное Знамя получил... Относился я к нему со всем уважением, он того заслуживал.

Ну вот, плыли мы так, плыли, или, говоря по-морскому, шли... Часов в десять утра прибежал матрос и сказал, что капитан меня зовет в рулевую рубку, только просит непременно захватить с собой бинокль. Когда я спросил, что случилось – если случилось, – он лишь с каким-то странным выражением лица махнул рукой и сказал нетерпеливо:

– Да там такое... Товарищ капитан просил срочно...

Срочно так срочно – по пустякам капитан ни за что бы не стал дергать, не тот мужик... Взял я свой полевой бинокль и пошел скорым шагом. В первый момент подумал, что речь идет о вещах насквозь практических – уж не обозначился ли поблизости американский военный корабль, идущий прямехонько на нас? Даже если и так, мы мало что могли сделать...

Не было никакого корабля. Такое впечатление, что все свободные от вахты – и обе буфетчицы, и мой сосед по каюте, судовой врач – толпились у правого борта. Там, куда они все глазели, и в самом деле виднелось что-то большое, длинное, темное, но оно двигалось не к нам, как выражаются моряки, шло параллельным курсом. И на какой бы то ни было корабль этот предмет решительно не походил. И на подводную лодку тоже – ничего похожего на рубку.

А впрочем, я особо не приглядывался. Глянул мельком, торопясь в рубку, и взбежал по трапу – знал уже, что лестниц на корабле нет, только трапы, что на военном, что на гражданском.

В рубке было тесновато: кроме рулевого и вахтенного (ввиду специфики нашего рейса в этой роли всегда выступали помощники капитана – сам «первый после бога», два остальных помощника, штурман, наши замполит и особист). Чутьочку друг другу мешая, они сгрудились у бокового остекления, выходившего на правый борт. Почти у всех были бинокли, оптика и невооруженный глаз уставились в одну точку, на этот самый предмет.

– Что такое? – спросил я, коснувшись локтя капитана.

Он усмехнулся как-то странно, потеснился, чтобы дать мне место:

– Сами посмотрите, товарищ комендант...

Я поднял бинокль к глазам, покрутил колесико, наводя на резкость, поймал его в окуляры...

Мама родная!

Как я привычно определил по имевшейся на правом окуляре шкале, крестообразному дальномеру, до него было не больше двухсот метров, а мой десятикратник сократил это расстояние этак до двух, так что целиком он в поле зрения не помещался. У меня был отличный десятикратник, цейсовский, в сорок пятом раздобыл в Германии и до сих пор пользовал вместо казенного. Бинокль – вещь неубиваемая, если обращаться с ним бережно, сто лет прослужит... и еще полстолька...

Море было спокойное, небо – безоблачное, ярко светило солнце, играло по воде мириадами солнечных зайчиков, так что я это страшилище видел так распрекрасно, словно рядом стоял.

Сначала мне показалось, что это змей – тот самый легендарный, Морской. Но очень быстро я разобрался, что это не змей, а какой-то ящер. Определенно ящер – вся верхняя половина туловища выступала над водой, я ясно видел бокастое туловище, длинный хвост, могучие плавники наподобие ластов. Больше всего он походил на плезиозавра с цветной картинки из «Детской энциклопедии» – я на нее подписался для старшего и в свободное время сам пролистал, а то и прочитал несколько томов, самых интересных (не все подряд, правда). Вот только у плезиозавра на картинке спина была голая, гладкая, а у этого – гребень из зубцов, непохожих на рыбы плавники.

Начинался он где-то от затылка, к середине туловища (по-человечески – «к поясу») зубцы увеличивались, потом опять уменьшались, по хвосту шли совсем уж маленькие, протянулись ли они до самого кончика, я не видел – кончик был в воде. Голова на длинной шее время от времени поворачивалась в нашу сторону – очень неприятная харя с большущими глазищами. Смотрел на корабль, потом опять пялился вперед. Пасть он ни разу не открыл, и какие у него там зубы, неизвестно – но как-то сразу думалось, что у такого вот создания и зубищи соответственные, ох, не травоядный...

Как и у плезиозавра, никакой чешуи, темно-бурая морщинистая кожа, тускло поблескивающая на солнце, влажная. Длинной он был, я так прикинул, метров пятнадцать, не меньше. Судно шло на малой скорости (уж не знаю, сколько узлов в час это будет по-морскому) – и дракон этот, ящер, ничуть не отставал, держался вровень...

Кто-то выматерился, длинно и затейливо – моряки на это мастера, – выдохнул:

– Ну, тварюга...

Опустив бинокль, я растерянно спросил куда-то в пространство:

– Это что такое?

– А кто ж его знает, товарищ комендант. Слыхивал я про Морского змея, но сам никогда не видел, хотя рассказывали люди, которым верить, безусловно, можно. Впрочем, сейчас любой скептик поверит. Вот только это не змей, никак не змей...

Ящер опять повернул голову, смотрел на судно. Но не изменил направления, все так же скользил по воде, ничуть ее не вспенивая – я бы сказал, преспокойно, уверенно. Страха перед судном в нем не чувствовалось нисколько. Оно и понятно – вряд ли на него когда-нибудь охотились с кораблей. Учитывая размеры и несомненные клычищи... Как-то сразу чувствовалось, что это исполинский хищник наподобие волка или тигра и, как они на суше, привык в океане никого не бояться и всегда готов подраться. Людей на палубе он не мог не видеть, но они ему наверняка казались несерьезными, неопасными крохотулями. Как и мне, наверное, на его месте...

– Змей, ящер – какая разница... – сказал старпом. – Делать-то что?

«Первый после бога» усмехнулся в усы:

– Семеныч, а ты уверен, что нужно что-то делать? И скажи ты мне на милость, что мы вообще можем сделать? И на хрена нам что-то делать? Мы не научно-исследовательское судно, у нас свой курс и своя задача. Китобоец его еще мог бы попробовать загарпунить, но вряд ли стал бы. Какая от него польза для народного хозяйства? Определенно никакой.

– За фотоаппаратом сбегать? – сказал кто-то.

– Ну, сбегай, – опять хмыкнул капитан. – Кто ж тебе запрещает? Это ж не секретный объект...

Помощник по политчасти выскочил из рубки. Старпом покрутил головой:

– А если он на судно попрет? Втемяшится в башку, кто ж знает, что у него на уме...

– Ну и что? Башкой не вышел нас таранить, только лоб разобьет. Коробка у нас не фанерная – стальная...

– А если на палубу полезет? Такая громадина вполне может и на палубу залезть...

– Вот именно, – добавил кто-то. – При таких габаритах запросто человека с палубы утянет. Даже на борт лезть не будет – шею вытянет и стянет. Ох, не похоже, что это рыло водорослями питается...

– А вот это дельная мысль, – серьезно сказал капитан.

Он сделал два шага в сторону, взял толстенький квадратный микрофон, нажал кнопку на пульте. Внизу громко захрипел палубный динамик и тут же громогласно разнес слова капитана:

– Внимание! Всем немедленно покинуть палубу! Немедленно!

Хотя судно и не военное, авторитет у него в команде был непререкаемый. Люди враз стали уходить к надстройкам – правда, неохотно, неторопливо, то и дело оглядываясь. Палуба опустела. А неведомый морской зверь все так же плыл параллельным курсом, временами поднимая голову на выгнутой шее и поглядывая на судно.

– А что, если он решил с нами наперегонки погоняться? – вслух предположил старпом. – От нечего делать?

– Ну, я так думаю, мы пошибче будем... – усмехнулся капитан. – Вот только если он на борт полезет? Товарищ комендант, у вас ведь полтора десятка автоматов в загашнике. Ежели сосредоточить огонь на башке...

Я не успел ничего сказать. Встрепенулся особист, энергично и сухо ответил за меня:

– У нас строжайший приказ: людей в дневное время на палубе не светить. И уж тем более оружие. Открывать огонь в одном-единственном случае: если американцы пойдут на абордаж, попытаются на судне высадиться. Вот тут уж... Судно – территория Советского Союза.

– Приказ – дело святое, кто ж спорит, – сказал капитан, не показав тоном извечное отношение военных к особистам (а ведь наверняка имелось таковое, как у всякого, не одну пару погон износившего). – Помню, как до войны пели – и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород. И этой тварюге не позволим соваться на территорию Советского Союза, ни к чему она нам тут...

– А как... – заикнулся кто-то и умолк.

– А очень просто, – спокойно сказал капитан. – Степан Феофаныч, в машинное – самый полный...

Старпом, выполнявший обязанности вахтенного, сделал два шага и так же спокойно, с самым невозмутимым видом перекинул ручки машинного телеграфа, так что стрелка встала против надписи «Полный вперед». Под носом корабля, прекрасно из рубки видимым, вскипели высокие буруны, морской ящер чуть ли не моментально оказался за кормой. Я смотрел на него, но не мог сказать, попытался ли он набрать скорость. Очень быстро тварь пропала с глаз, как не бывало. Остался океан с мириадами солнечных зайчиков. Совершенно пустынный.

– Вот так, – удовлетворенно сказал капитан. – Советские дизеля будут почище его дыхалки...

Влетел растрепанный помполит со «Сменой» в расстегнутом футляре в руке. Бросив взгляд на море, растерянно спросил, ни к кому персонально не обращаясь:

– А где?..

– А отстал, – сказал капитан. – Не ему с нами в догоняшки играть...

– В судовой журнал вносить будем? – деловито спросил старпом.

– Не вижу никакой надобности, – не задумываясь, ответил капитан. – Все пароходство над нами смеяться будет. Ну, может, многие и поверят, но все равно не вижу смысла.

– Столько ж свидетелей, чуть не весь экипаж...

– Ну и что? – пожал плечами капитан. – Даже если дойдет до ученых и они поверят, где они это чудо-юдо искать будут? Это ж даже не иголка в стоге сена, это ж океан...

Последнее слово он произнес с тем же благоговейным чуточку уважением, с которым у нас произносили «боеголовка», имея в виду, конечно же, исключительно ядерную. Так что я его понимал...

Капитан повернулся ко мне:

– А вы, товарищ майор, сообщение об этаким randevу в рапорт включать будете?

– И не подумаю, – сказал я, тоже практически не раздумывая. – К моим прямым обязанностям и служебной необходимости это никакого отношения не имеет.

– Вот то-то и оно, – кивнул он. – А вы как?

Особист, к которому он обращался, чуть пожал плечами и промолчал – и я понял по его лицу, что он по своей линии тоже писать ничего не будет. И был абсолютно прав, как и мы с капитаном, – по большому счету, какой смысл?

Вот, собственно, и вся история. Когда пришли на Кубу, старпом потом рассказал мне, что, согласно прямому распоряжению капитана, так и не внес запись об этой встрече в судовой журнал – как и я не стал упоминать о ней в рапорте (наверняка и особист тоже, хотя я и не спрашивал). У нас хватало более важных дел – оборудовали позиции, устанавливали ракеты, ставили на них ядерные боеголовки, доставленные специальным судном. Ну, чем все это кончилось, давно и хорошо известно, нет нужды рассказывать...

Что еще? Потом я эту историю несколько раз рассказывал, когда за бутылочкой вспоминали разные истории из жизни, и печальные, и смешные, и диковинные, курьезные. И знаете

что? Прослеживалась любопытная закономерность: люди «сухопутные» мне большей частью не верили, о чем откровенно говорили. А вот среди моряков, как военных, так и гражданских, скептиков практически не было. Разными словами говорили одно: в океане может встретиться все, что угодно, от «Летучего Голландца» до морских ящеров. Очень уж он велик и необозрим да вдобавок и на один процент не исследован. Там может скрываться что угодно. В том числе и здоровенные животные, науке до сих пор неизвестные. Места много, еды хватает, плодись и размножайся сколько душе угодно.

Эти самые моряки, в свою очередь, рассказали парочку историй. Довольно диковинных, одна похожа на мою, другая может показаться вовсе уж сказочной, но я, хотя и знаю, что моряки – великие мастера травить завлекательные байки, верю обоим. Еще и оттого, что сам был очевидцем зрелища, в которое далеко не все верят.

Найдется время, как-нибудь обязательно эти две истории расскажу как слышал...

Ночное небо

Сначала этот самолет, двухмоторный бомбардировщик, назывался ДБ-3ф. На таком я и воевал в финскую. Такие, принадлежавшие к морской авиации Балтфлота, и бомбили Берлин несколько раз начиная с середины августа сорок первого года. Ущерб, конечно, для Берлина был невелик, но политическое значение получилось огромное. Геббельс орал по радио на весь мир, что советская боевая авиация уничтожена начисто, а столица рейха, да и сам рейх совершенно неуязвимы для самолетов противника. Вот эта «начисто уничтоженная» авиация не один раз показала, что столица рейха для наших бомбардировок очень даже уязвима...

Видели такое кино – «Торпедоносцы»? Ну вот, тот самый самолет и показан. Точнее говоря, уже Ил-4, так его называли в сорок втором, когда добавили защитное вооружение, бронирование и второго стрелка. До конца войны это был основной самолет АДД – авиации дальнего действия. Имелись у нас и четырехмоторные Пе-8, способные бомбить с таких высот, куда не доставала ни одна зенитка и не забирался ни один истребитель, но было их у нас что-то всего около восьмидесяти. Так-то рабочей лошадкой, главным ночным бомбардировщиком стал именно Ил-4 (хотя он часто работал и днем в прифронтовой полосе). Ну а ночью бомбили немецкие тылы, иногда, когда рейды были не такие уж дальние, делали и по три-четыре боевых вылета за ночь. Да чего только не делали: и аэрофоторазведку вели в глубоком немецком тылу, и планеры буксировали, грузовые и десантные, и разведчиков в немецкий тыл забрасывали, и к партизанам летали, с посадками и без осадок. Трудяга был тот еще Ил-4...

Великолепный был самолет! Живучий, как черт. Баки у него по мере выработки горючего заполнялись инертным газом, так что поджечь было крайне трудненько, как немцы ни старались. И он в случае отказа или повреждения одного мотора мог лететь на другом – на бомбежку, конечно, на одном моторе идти не стоило, но домой, если что, очень свободно можно было дотянуть. Жутко потом было на земле смотреть, как, оказывается, изрешетило, но ведь дотягивали и садились...

Ладно, хватит. Когда речь заходит об Ил-4, я могу распинаться очень долго. А расскажу я вам не о самолете, а о двух встречах в ночном небе. Может показаться небывальщиной, но всё так и было...

Первая случилась осенью сорок третьего. Мы как раз тогда вылетели бомбить большой железнодорожный узел в глубоком немецком тылу. Шли, как обычно, без истребительного прикрытия – «ястребкам» не всегда и хватало радиуса действия, даже с подвесными баками. Это было не такое уж опасное предприятие, как может показаться. Ну да, немцы уже широко использовали при защите стационарных объектов радары. (Кстати, о чем мало известно, у нас к началу Отечественной тоже были радары, РУС-1 и РУС-2, только имелось их очень мало.) И ночные истребители у немцев имелись, операторы радаров их на нас выводили с большой точностью. Однако радаров было все же не море разлитое, да и от истребителей мы огрызались порой очень успешно. Так что никак нельзя сказать, что процент потерь был таким уж катастрофическим – это в начале войны потери были удручающие, оттого что летали в прифронтовой полосе днем, без истребителей...

Тот полет проходил нормально, мы шли замыкающими, и до цели оставалась примерно четверть пути. Ни одна сволочь не объявилась, не заходила нам в хвост. Что нас, понятно, не расслабляло ничуть – главная карусель должна была начаться над целью, а то и при подлете. Так что ушки мы держали на макушке, особенно стрелок, «державший» хвост, ему приходилось проявлять двойную бдительность.

Хвостовой стрелок и сказал, да что там, прямо-таки завопил не своим голосом:

– Командир!!!

– Что такое? – встрепенулся я (от вопля в наушниках аж зазвенело). – «Мессерá»?

(У немцев были истребители и других марок, но мы ради простоты и краткости звали их всем гамузом «мессерами» – да ночью и не разберешь сразу, какой системы гад тебе в хвост заходит – а собственно, какая разница?)

– Да нет, – сказал он уже спокойнее. – Но тут такое... Глянул бы ты, а? Черт знает что, хрень такая...

Ну, раз «черт знает что», то уж явно не ночные истребители. Передал я управление штурману и, скрючившись в три погибели, чуть ли не на четвереньках полез в хвост. Хорошо еще, что был не в зимнем комбинезоне, так оно сподручнее.

Хвостовая башенная турель была не то чтобы тесная, но у стрелка обзор был лучше, он сидел высоко, в подвесном брезентовом кресле, а я стоял, выставив над фюзеляжем только голову. Но все равно видел отлично...

В самом деле, черт знает что! За нами летели светящиеся шары, этаким журавлиным клином: один флагманом, за ним два слева и четыре справа (я их машинально вмиг сосчитал). Как они выглядели? Да именно что светящиеся шары, летевшие, как сказать, сами по себе, очень близко друг к другу, так что никакой истребитель между ними ни за что не уместился бы. Ярко-розовые, причем не сплошные, а как бы ажурные, такого затейливого плетения, словно бы из непонятного яркого света. В жизни такого не видел...

На каком расстоянии от нас они летели, я тогда не мог бы сказать и сейчас не могу. Потому что не знал их размеров. Если с футбольный мяч – совсем близко, если в несколько метров – держались довольно далеко. Точно определить размер было невозможно: никаких дальномеров у нас не имелось, они есть только у артиллеристов, а у летчиков им взяться неоткуда. Ну а до радаров на самолетах было еще как пешком до Луны, деликатно выражаясь, или до Китая раком, если попросту...

(Правда, сейчас я не уверен, что их взял бы радар.)

Одно можно сказать точно – шары идеально держали дистанцию как меж собой, так и меж флагманом и нами. Летели у нас в хвосте, летели, а дистанция нисколько не менялась. Словно у них там сидели опытные пилоты...

Не знаю, сколько прошло времени, пока мы вот так торчали и таращились на них как баран на новые ворота – отчего-то вопреки иным устоявшимся рефлексам и в голову не пришло посмотреть на часы, засечь время.

– Откуда они взялись? – спросил я в совершеннейшей растерянности.

– Да как бы из ниоткуда, – так же растерянно ответил стрелок. – Ни черта не подлетали. Взяли вдруг да зажглись, вот на таком вот именно расстоянии. И прилипли, как репей к собачьему хвосту...

И мы снова на них таращились – а они, светясь по-прежнему, не тусклее и не ярче, все так же держали прежнюю дистанцию, словно привязанные невидимыми буксировочными тросами, как планеры. Не издавали ни малейшего шума, и не видно было ничего, похожего на ночные выхлопы авиамооторов (и как я понял впоследствии, и ракетного выхлопа). Просто-напросто светящиеся ярко-розовые шары, ажурно-затейливые, и всё тут...

Моторы работали спокойно, немецких истребителей не было, выхлопные патрубки идущих впереди самолетов были, как обычно, прикрыты пламегасителями, но все же их тусклые огоньки виднелись. Самолет исправно летел в ночном небе, как сто раз до того – а в хвосте у нас, строго соблюдая дистанцию, ими самими установленную, – неотступно, беззвучно, не проявляя ни капли агрессии, не совершая маневров, тащились эти загадочные шары. И я понятия не имел, что они такое, знал одно: ничего подобного раньше не видел, ни о чем подобном от наших – да от кого бы то ни было – в жизни не слышал.

– Командир... – сказал стрелок азартным шепотом. – А если это новое секретное оружие? Немецкое?

У меня у самого мелькнула такая мысль, потому что ничего другого в голову не приходило. Чуть подумал и сказал:

– Не похоже. Будь это оружие, они бы по нам давно вцепились, я так думаю...

– А пожалуй что, – согласился он. – Может, дать очередь по переднему? Вдруг он совсем близко и я его достану?

На сей раз я почти не раздумывал, сказал:

– Лучше не стоит, кто их там знает, будет ли им ущерб. А вот они могут чем-нибудь таким шархнуть...

– Чем? – спросил стрелок.

– А я знаю? – огрызнулся я. – Ничего с ними не известно, так что не вздумай!

– Есть...

И мы опять на них таращились, а они летели за нами как привязанные. Связываться с ребятами было бесполезно – они из нижней турели и носового фонаря все равно не увидели бы эту чудасию. Так что я просто таращился, как и стрелок, молча – а что я мог сделать? Совершенно ничего...

Правда, я посмотрел на часы – ошеломление прошло, и прежние рефлексы напомнили о себе. Получалось, за всё про всё с того момента, как я оказался в башенной турели, прошло всего-то девять минут. А показалось, не меньше часа...

Пора было принимать решение. Минут через десять мы должны были войти в зону действия немецких истребителей, и тут уж следовало ухо держать востро, не отвлекаться ни на что постороннее, пусть даже на непонятные светящиеся шары, журавлиным клином пристроившиеся в хвост. В конце концов, от них пока что не было никакого вреда, а мне, по уму, следовало вернуться на свое место...

Проблема разрешилась сама собой – шары вдруг погасли, разом, все сразу, словно повернули выключатель. Как я ни всматривался в ночное небо, ничего там не заметил – всё как обычно, темнота и яркая россыпь звезд – мы шли километрах на пяти, над облаками.

– Вот так они появились, – сказал стрелок, зачем-то вправо-влево поворачивая ШКА-Сом. – Р-раз – и зажглись, р-раз – и погасли...

– Ну и черт с ними, – вздохнул я облегченно. – Я пошел. Поглядывай тут, мало ли что...

И так же, скрючившись, вернулся в кабину, уселся в свое кресло за штурвал.

– Что там? – спросил штурман из носового фонаря.

Практически не раздумывая, я ответил:

– Да ни черта. Померещилось что-то Гришке. Беру управление.

– Понял. Передаю управление.

И я взял управление. Ничего не собирался от ребят скрывать – просто время было неподходящее для обстоятельных бесед о чем-то постороннем, пусть даже таком удивительном. Вот-вот должна была начаться работа.

Она вскорости и началась. Нет смысла о ней рассказывать подробно – бомбежка как бомбежка, ничего особенного. Зенитки палят, «ночники» объявились не запылились, хорошо еще, в малом количестве, думать некогда, тело само все делает... Уточню лишь: результат получился не такой уж скверный – один самолет сбили (мы так и не узнали, кто именно, зенитки или истребители, видели лишь, как он пошел к земле и полыхнула огнем кабина), на втором убило хвостового стрелка (это уж «мессер» постарался), еще три, в том числе и мой, малость подырявило пулями и осколками, но техники быстро пробоины залатали...

Когда вернулись, я немного отоспался и утречком отправился напрямик к капитану Климушеву, нашему особисту (мы так по старой памяти порой за глаза звали смершевцев). Подробно рассказал ему все. Он выслушал очень внимательно, скреб подбородок, дымил папиросой. Старательно все записал, дал мне расписаться и сказал, что обстоятельную докладную

по начальству обязательно отправит, да еще попросил, что было предсказуемо, прислать к нему Гришу.

Из того, что мы с Гришей видели, секрета не делали, и это быстро разнеслось по эскадрилье. Нам, в общем, верили. Пожимали плечами и говорили: всякое может случиться. Некоторые стояли за версию о немецком секретном оружии – правда, никто, кроме нас, как вскоре оказалось, этих светящихся шаров не видел. Те, кто не соглашался с версией о секретном оружии, выдвигали логичную, надо сказать, контрверсию, говорили то же, что я сразу сказал Грише: будь это оружие, они бы по самолету обязательно чесанули, пошли на таран, подожгли. Им возражали: может, это были пока что испытания, без боевого применения. Но вялые споры вскоре увяли окончательно: это были чисто умозрительные дискуссии, никто не знал, как на самом деле все обстояло, так что не стоило зря мучить мозги, хватало неотложных практических дел...

Не сомневаюсь, хотя и не лез с расспросами: капитан докладную наверх отправил. Только никаких последствий это не возымело. А последствия были бы исключительно такими: пришел бы циркуляр по АДЦ – дескать, в таком-то районе такой-то экипаж наблюдал то-то и то-то, в связи с чем всем предписана повышенная бдительность, о подобных встречах по возвращении докладывать немедленно. Но ничего подобного так и не последовало. Может быть, командование придерживалось (после консультаций со специалистами) той же версии, что наш старлей Фатьянов из метеослужбы: он был убежден, что мы столкнулись с атмосферным феноменом, а конкретно с шаровыми молниями. О шаровой молнии мало что известно (такое же положение сохраняется и сегодня), а представлять она может в самых разных обликах и размерах. До сих пор в виде ажурного шара она не появлялась – но кто о ней что-то скажет с уверенностью?

А может, наверху ждали новых сообщений о подобных встречах. Но так и не дождались: ни мы, ни кто-то еще из нашей эскадрильи ничего подобного больше не видел. А насчет других эскадрилий мне ничего не известно – во всяком случае, я ни до конца войны, ни позже, в Маньчжурии, ничего об этом не слышал...

И ведь на этом странности в ночном небе не закончились! Случилась еще одна удивительная встреча, вовсе уж ошеломительная...

Снова мы отправились в обычный боевой вылет. Было это, я отлично помню, двадцать пятого декабря сорок третьего, в немецкое Рождество. У нас до революции Рождество тоже праздновали в этот день, а потом по новому календарю передвинули дату на тринадцать дней вперед. Ну и открыто праздновать перестали, конечно. Нет, никто не преследовал уже людей верующих, отмечавших праздник келейно, но вот члену партии или комсомольцу за празднование Рождества могло маленько и нагореть.

Ну а немцы Рождество отмечали открыто. Гитлер к христианству относился плохо, покровительствовал дурному язычеству, но на некие основы не покушался. Праздник этот мы всякий год использовали по полной, на бомбежку вылетало все, что могло летать. Нет, не из какой-то вредности – на войне такие соображения в счет не берутся. Тут свои нюансы. В дни больших праздников во всех, пожалуй, армиях мира, и на фронте в том числе, народ, как бы это поточнее выразиться, малость расхолаживается. Конечно, не превращается в полных и законченных раздолбаев, но все равно чуточку расслабляется по сравнению с будними днями, бдительность поумеряет, а иные несознательные элементы ухитряются, если есть такая возможность, уже с утра чуток отпраздновать. Мы это знали насчет больших немецких праздников, а они – насчет наших. И им, и нам полегче было работать в такие дни...

Да, такая подробность. В войну было в моде писать на авиабомбах (и на реактивных снарядах для «катюш») разные лозунги и «дружеские пожелания» противнику. Противник бы их, понятно, не увидел, но так уж было заведено. Вот и в тот раз технари на нескольких бомбах крупно написали мелом: ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА! Начальство этой писанине никогда не препятствовало, не говоря уж о том, чтобы запрещать.

Как и в тот раз, когда к нам пристроились в хвост светящиеся шары, до определенного момента полет проходил нормально. Моторы гудели ровно, размеренно, «мессеры» не попадались, светили звезды, мы шли высоко над облаками, как по ниточке. Даже чуточку убаюкивал такой покой, но я, понятное дело, старался этому не поддаваться.

В какой-то момент показалось, что правое крыло как-то странно светится. Посмотрел я туда и чуть не заорал от удивления. Было от чего!

Это не крыло светилось. За правым мотором на крыле лежала девушка!!!

Она... нет, не светилась. Но выглядела как актриса на сцене, освещенная невидимым зрителям прожектором. Так что я вмиг ее рассмотрел, и в память впечаталась намертво, вот сейчас перед глазами.

Мы шли почти что на максимальной скорости – за триста пятьдесят километров в час. Обычного человека, каким-то чужом оказавшегося на крыле, моментально смахнуло бы воздушным потоком, а она лежала как ни в чем не бывало. На нее встречный поток воздуха словно бы и не оказывал никакого воздействия – длинные темные волосы не то что не разметались, даже не колыхнулись, лежали на плечах и груди. Сразу видно было, что она совсем молодая и красивая, спасу нет. Глазищи синие, большущие, лукавые, на физиономии явно читается неприкрытое озорство. Такие девушки, как это за красавицами водится, обожают пококетничать и острые на язычок – я имею в виду обычных девушек. Но и у нее был именно такой вид...

Платьице на ней было какое-то странное, руки и ножки открыты полностью (ах, какие у нее были ножки!). Но не в том дело. Вид у него был предельно странный: узорчатое наподобие среднеазиатских (но не такое же в точности), разноцветное, и по нему часто пробегали от подola к плечам словно бы более яркие, чем неведомый легкий материал, неспешные волны. Первый и последний раз видел такое вот платье...

Она лежала, оперевшись правым локтем на крыло, словно на мягкое одеяло (а ведь крыло – поверхность жесткая), подпирая ладошкой щеку. В этом не было ничего непристойного или хотя бы вульгарного, даже учитывая ее очень смелый по тем временам наряд – в такой непринужденной, естественной позе люди беззаботно лежат где-нибудь на пляже или на мягкой траве при поездке за город.

Вот именно, это ее платьице, даже на вид легонькое, как ситец, полностью открывавшее руки, круглые плечи и ножки... Совершенно неподходящий наряд для той погоды, что стояла за бортом. А стояла там лютая стужа, мы шли почти на потолке своей высоты, на восьми тысячах метров, на такой высоте гораздо холоднее, нежели на земле, а на земле ртуть упала ниже минус двадцати, так что за бортом не меньше минус сорока. Я сидел, упакованный позимнему – комбинезон на меху, унты, шлем с теплой подкладкой, толстые перчатки, и все равно лицо пощипывал морозец. А она, сразу видно, ничуть от холода не страдала, может быть, вообще его не чувствовала. Зябко было на нее смотреть, лежавшую посреди жуткого мороза в куце легком платьице...

– Командир, видишь?! – воскликнул Гриша.

И тут же подключился штурман:

– Это что за девка?! Откуда взялась?!

Ага, мне нисколько не мерещилось – ребята видели то же самое. Ну конечно, имели такую возможность – и Гриша в своей прозрачной башенке, и штурман в носовом фонаре. Это второй стрелок, отвечавший за нижнюю полусферу и смотревший из самолетного «брюха», никак не мог видеть крыльев. Он и подключился со вполне понятным недоумением:

– Вы о чем? Какая такая девка?

Я моментально принял решение – может быть, думалось мне потом, такая скоропальчатость проистекала оттого, что уже встречался с Необычным в лице светящихся шаров. Просто-напросто рявкнул самым что ни на есть командным голосом:

– Прекратить болтовню! Всем полное молчание! Все в оба глаза смотрят по сторонам!

А что другое я еще мог сделать или приказать? Экипаж у меня был дисциплинированный, ребята моментально замолчали. Правда, сам я по-прежнему смотрел на нее во все глаза. Пилоту как раз нет никакой необходимости бдительно следить за воздухом – он большей частью смотрел только вперед да чуточку по сторонам. Сейчас и в этом не было никакой необходимости – я вел самолет привычно, не глядя ни на приборы, ни вперед, тело само все делало – тем более что и делать-то ничего не нужно было, лети себе по прямой с постоянной скоростью...

Судя по молчанию в наушниках, никто ее не видел, кроме нас. И немудрено – я шел замыкающим, крайним справа, так что правее не было никого...

Так что у меня была полная возможность таращиться на нее во все глаза, что я и делал. А она... Она, несомненно, была не полупрозрачным призраком, выглядела живой, вполне материальной. Помаргивала, временами чуть-чуть поворачивала голову. И тоже меня видела, никаких сомнений, нас разделяло метров пять, не больше, так что можно говорить со всей уверенностью. Я видел, как она дышит, глубоко и спокойно, как время от времени чуточку меняет позу.

Она посмотрела, казалось, прямо мне в глаза – и, озорно улыбнувшись, вдруг показала мне язык, как самая обыкновенная шаловливая девчонка. Это было так неожиданно, так буднично, так прозаично, что почему-то поразило меня более всего. Вот так вот взяла и показала язык. Как-то это не сочеталось с Необычайным – хотя какой из меня специалист по Необычайному... Светящиеся шары не в счет – там было совсем другое...

И я... Смешно, конечно, – боевой летчик, начинавший еще в финскую, целый капитан, наград прилично, хотя до Героя, о чем втайне мечтал, так и не дотянул... С другой стороны, было мне тогда от роду двадцать пять годочков, кровь играла, характер был шептунной. Короче, я тоже показал ей язык, еще качественнее, чем она мне.

Она это приняла, я бы сказал, весело. Переменила позу и, усевшись на крыле, словно на диване, обеими руками обхватив круглую коленку (опять-таки немислимая поза, учитывая мороз за бортом, высоту, скорость), смотрела на меня все так же озорно. Подняла к губам руку ладонью вверх, легонько дунула, надувая розовые губки – этакий воздушный поцелуй. Передвинулась к задней кромке крыла – странно так передвинулась, абсолютно не шелухнувшись, помахала мне рукой, улыбаясь во весь рот...

И пропала. Вот только что была – и нету. Словно выключатель повернули. Шары исчезали с глаз точно так же. Странно, меня на миг охватила невероятная грусть оттого, что ее больше не было, но это тут же схлынуло напрочь...

Молчать я не мог. Сказал:

– Гриша, Вень! Вы ее видите?

– Пропала начисто, – сказал Гриша.

– Раз – и нету... – поддакнул штурман.

– Баба с возу – кобыле легче... – прокомментировал я.

– Да о чем вы?! – чуть ли не закричал второй стрелок.

Я ничего ему не ответил – не время и не место для долгих объяснений. Гриша со штурманом, очевидно, подумали то же самое, потому что промолчали. И я сказал самым что ни на есть твердым командирским голосом:

– Внимание, экипаж! Не расслабляться, ушки на макушке! Цель близко!

Цель и в самом деле была близко, и вскоре мы оказались над ней. И снова особенно рассказывать нечего: противозенитный маневр, выход на цель, бомбы с рождественскими пожеланиями технарей летят вниз, нагрянули «мессера», Рождество им было не Рождество, как и нам, завертелась карусель. Разве что на сей раз у нас, так уж свезло, не было ни сбитых, ни убитых, ни раненых. Благополучно вернулись на родной аэродром всем колхозом.

(Тогда вопрос этот так и не встал, но позже я задумался: а что, если это она нам такое наворожила? Или просто принесла удачу? Летчики, скажу по секрету, народец суеверный, в этом плане ничуть не уступает морякам. Только кто ж на этот вопрос ответит? Уж никак не я...)

Когда вернулись и узнали, что вылетать нам этой ночью больше точно не придется (а значит, и завтра весь день до вечера свободный), решили не просто устроить военный совет с обсуждением кое-каких подробностей, учитывая, какими оказались некоторые подробности боевого вылета, постановили устроить маленький тихий сабантуйчик – сна не было ни в одном глазу.

Нам такое было не впервой, поэтому к делу подошли привычно и обстоятельно – прихватили из столовой по полной тарелке второго (вообще-то этого не полагалось, но у Венки были, скажем так, ну очень дружеские отношения с одной из подавальщиц. Самой там красивой, кстати, так что многие ему завидовали). Покрошили пайковой колбаски, шоколад выложили. Кроме наркомовских, у нас было в заначке пол-литра, так что получилось качественно. Закрылись в комнатке, где обитали вчетвером, разлили по первой – и тут же начались, будь это профсоюзное собрание, прения.

Естественно, первым делом разговор зашел о загадочной девушке, столь бесцеремонно и непринужденно усевшейся к нам на крыло (ну, от красивых девушек всякого можно ждать). Точнее, обстояло чуточку иначе: единственный из экипажа, кто ее не видел, второй стрелок Жора Михайлов, с ходу и настойчиво потребовал объяснений: что такое случилось в ночном небе, что мы все увидели?

Мы рассказали. Много времени это не отняло: все видели одно и то же. Жора, как и следовало ожидать, сразу не поверил. За что его упрекать трудно – очень уж неправдоподобно показалось бы любому. Стал горячиться, голос повысил, так что пришлось на него шикнуть. Пошел пятый час утра, но наше общежитие (по комфорту немногим отличавшееся от казармы, разве что экипажи обитали в отдельных комнатках) жило в круглосуточном режиме из-за специфики службы. Приходили отбомбившиеся экипажи, могли появиться и старшие командиры, и замполит. На то, что мы после полета могли выпить капельку больше, чем полагалось наркомовских, посмотрели бы сквозь пальцы, но на дворе стояло Рождество. Могла какая-нибудь добрая душа стукнуть замполиту, что мы нахально отмечаем старорежимное Рождество. Жутких репрессий не последовало бы, не те уже стояли времена, но обязательно легонько пропесочили бы кого по партийной линии, кого по комсомольской. Жора моментально внял и обороты сбавил, но все равно твердил уже полупшепотом, что всё это вздор, не бывает таких девушек. Он, понимаете ли, верит, что о видении речь не идет – у трех человек сразу одинаковых галлюцинаций не бывает. Но все равно, очень ему сомнительно...

Пикантная получилась ситуация. Весь парадокс в том, что тех светящихся шаров Жора со своего места тоже не видел, но вот в них поверил безоговорочно. Потому что еще мальчишкой у себя в деревне наблюдал шаровую молнию, разве что не ажурную – небольшенький такой желтый шарик. После грозы, когда развиднелось, шел по каким-то надобностям за околицей, увидел не так уж далеко и со всех ног припустил прочь. Так что в шаровую молнию он поверил сразу – хотя никогда не слышал, как и мы, чтобы они летали стаей. А вот в девушку на крыле...

– Ну, сам подумай, чудило, – сказал я. – Кто бы тебя стал разыгрывать в боевом вылете, на подходе к цели? Спасу нет, до чего неподходящее время и место для розыгрышей. Будь мы на земле, в простое, скучаячи от безделья – тут уж кто его знает... Но не там и не тогда...

– Да уж, слышал я, как вы перекликались удивленно...

– Вот видишь, – сказал Веня. – Стали б мы тогда ради розыгрыша ваньку валять...

Парадокс был еще и в том, что Веня из носового фонаря, как и Жора, шаров не видел, но поверил нам с Гришей сразу. А вот теперь собственными глазами убедился, что в ночном небе встречаются загадочки и почище идущих журавлиным клином светящихся шаров...

Мы не стали, пардон, усираться и что-то Жоре доказывать. На повестке дня стоял более животрепещущий вопрос: как теперь быть и стоит ли об этом докладывать?

После короткого обсуждения сошлись во мнении: докладывать, безусловно, не стоит. Это в шары Климушев поверил сразу, а вот в девушку... Крепко сомневаюсь. С огромной долей вероятности посчитал бы это идиотским розыгрышем, совершенно неуместным в боевых условиях. По той же причине мы порешили никому в эскадрилье о девушке не рассказывать – не хотелось выглядеть законченными брехунами или кем-то того почище.

Слушавший нас без всяких реплик и комментариев Жора в конце концов недоуменно пожал плечами:

– Так серьезно вы об этом говорите... Не знаешь, что и думать.

– Да думай ты себе что хочешь, – отмахнулся Венья. – Очень нам нужно тебе что-то доказывать, в лепешку разбиваться. Главное, мы-то знаем, что девушка была...

На том и закончили. Допили, что оставалось, и завалились спать.

Венья Альтман эту историю так не оставил. В эскадрилье прозвище у него было Боттичелли – вполне уважительное прозвище, не то что обидная кличка. Он перед войной закончил художественное училище и рисовал, я и теперь убежден, очень неплохо. Едва выдавалось свободное время и находилась бумага, брался за карандаш. Самолеты он, конечно, не рисовал, чтобы не напороться на конфликт с нашим особо бдительным замполитом – говорил, будет время после войны. Главным образом портреты, и замполита тоже. Сходство получалось очень даже большое, некоторые, кто имел такую возможность, их домой посылали. Смотришь, и стал бы после войны художником, как хотел, может даже, и не самым безвестным. Только он погиб под Кенигсбергом, когда мы попали под жуткий зенитный обстрел. Носовой фонарь вместе с Веньей разнесло в клочки, оба мотора накрылись, так что нам троим пришлось прыгать, хорошо еще, без проблем приземлились в нашем расположении – Кенигсберг к тому времени взяли в глухую осаду. Ну, это уже другая история, к нашей теме отношения не имеющая – чистой воды фронтовые будни...

Так вот, недели через три фронт пошел в наступление, продвинулся далеко, мы перебазировались, и ребята из нашей эскадрильи нашли в малость разбитом немецком штабном автобусе, приткнувшемся на обочине, шикарный набор акварельных красок и кистей – у немцев тоже был, надо полагать, свой Боттичелли. Естественно, тут же его прибрали к рукам и притащили Вене. Он очень обрадовался – и теперь портреты шли акварельные, и было их немало, большая оказалась коробка, надолго Веньке хватило...

Акварелью он и написал нашу ночную гостью. Небольшая была картинка, примерно в половину листа журнала «Огонек» (все его портреты были примерно такого размера. Венька говорил, что для больших сейчас как-то не время, что потом напишет настоящую картину маслом. После войны. Не довелось...).

Как случилось со всеми его портретами, он очень точно передал сходство и ту грациозную позу, в которой она лежала. Правда, не понять было, на чем она лежит – крыло он рисовать не стал, лишь скупой наметил фон, это могло быть что угодно. Мы с Гришей сошлись на том, что вышло очень похоже.

Потом, когда он погиб, мы, как тогда было в обычае, разыграли меж нами тремя его немудреные пожитки. Красок и кистей никто брать не стал, ни к чему они нам были, а вот десяток картинок пустили на розыгрыш первым делом. Года через три после войны я отдал свой карандашный портрет и картинку с девушкой застеклить и вставить в рамку, повесил на стену. К тому времени я уже был женат. Жена отреагировала так, как, наверное, любая на ее месте, – сначала явственно напряглась, словно бы погрузтелла, а через пару дней спросила напрямую: не есть ли это какая-нибудь моя старая любовь? Я ей преподнес полуправду: сказал, что это память о фронтовом друге, а уж что за девушку он нарисовал, ведать не ведаю, сам он никогда не говорил. Она, я видел, поверила, и картинка осталась висеть.

Вот только в шестьдесят шестом я и ее лишился, и своего портрета. Домик наш был еще дореволюционной постройки, электропроводку не меняли с довоенных времен, вот ее где-то замкнуло, и запылало на совесть. Взрослые были на работе, дети в школе, не нашлось никого, кто сидел бы дома, и прежде чем примчались пожарные, три квартиры, в том числе и наша, выгорели начисто...

И больше ни в Отечественную, ни позже в Маньчжурии мне не попадалось в небе ничего необычного, ни днем, ни ночью. И я не слышал, чтобы кому-то попадалось. Если что и было, об этом даже среди своих не рассказывали – как и мы не рассказывали о девушке на крыле. Только однажды, один-единственный раз, у этой истории получилось совершенно неожиданное продолжение...

Дело было осенью сорок четвертого, когда союзники, к нашей всеобщей радости, наконец-то открыли второй фронт, с которым так долго тянули. Американцы стали совершать так называемые челночные полеты – взлетали во Франции и, отбомбившись над Германией, не поворачивали домой, а летели дальше на восток, садились уже у нас, потом, отдохнув и загрузившись бомбами, заправившись, летели к себе, разгружаясь, понятно, над Германией.

На нашем аэродроме они и базировались. А перед тем, как эти полеты начались, нам, собрав по эскадрильям, долго читали лекцию замполиты. Общаться с союзниками нам не возбранялось. С американцами у нас не то чтобы стояла горячая дружба, но отношения были достаточно теплыми. Нам, называя вещи своими именами, крепенько напомнили старую поговорку «Дружба дружбой, а табачок врозь». Настроено предписали следить за языком, семь раз отмерить, а уж потом говорить. Помнить, что США – капиталистическое государство со всеми вытекающими отсюда сложностями. Не шарахаться от них, но и особо не панибратствовать, от политики держаться подальше, не заговаривать о преимуществе социализма перед капитализмом, идеологии не касаться вовсе, не приставать с расспросами, почему они так долго не открывали второй фронт. В таком вот ключе и аспекте. Ну отнюдь не вскользь упоминалось о необходимости хранить военную тайну и на провокации не поддаваться.

Подозреваю, похожий инструктаж был и у американцев. Некоторые из них держались чуточку скованно (как и иные у нас с ними). А впрочем, особенно мы меж собой не болтали. Английский тогда не имел такого распространения, какое получил позже, в школах у нас преподавали главным образом немецкий и французский – ну а у них русский не преподавали вообще. Ну, летчики меж собой всегда договорятся и на жестах. Лучше всего это получалось у истребителей – обеими руками чертили фигуры высшего пилотажа, схемы воздушных боев и прекрасно друг друга понимали. Мы, бомбардировщики, от них отставали, но тоже могли о многом «поговорить».

Интересные бывали коллизии. Объявился неведомо откуда, как чертик из коробочки, никому до того не известный капитан, в летной форме, с набором орденов, общительный такой, обаятельный крепыш. Ни в одной эскадрилье он не числился, но просиживал в столовой все дни напролет, общаясь с американцами на английском – на неплохом английском, по нашим наблюдениям. Нас заранее предупредили, чтобы мы не тарасились на него как баран на новые ворота и вели себя так, будто он здесь обитает с самого начала. Мы это ценное указание прилежно выполняли.

Несомненно, у американцев были свои такие же... капитаны. Несколько человек у них очень прилично говорили по-русски, и некоторые задавали не то чтобы скользкие, но определенно скользковатые вопросы, заставлявшие всерьез подозревать, что они не просто летчики. Согласно тому же инструктажу, мы с такими держались как ни в чем не бывало, разве что за словами следили особенно старательно и о тех вопросах, что казались скользковатыми, потом докладывали особистам – согласно тем же инструкциям...

Многое у них нас удивляло не на шутку. Скажем, рядовой разговаривает с офицером, сунув руки в карманы, стоя в самой что ни на есть раздолбайской позе. Попробовал бы у нас

рядовой так держаться, с губы бы не вылезал, а у них – запросто, и офицеры принимали это как должное. Честь они отдавали не то что на свой манер, вообще без зазрения совести поднося ладонь к «пустой», непокрытой голове. И спиртное. У нас в боевой авиации отнюдь не обходилось одной лишь наркомовской нормой. Истребителю за сбитый самолет открыто подносили в столовой двести граммов водки (а за два – соответственно четыреста). У бомбардировщиков была чуточку другая система, но и мы наркомовскими не ограничивались. А у американцев после возвращения из полетов спиртное стояло на столах без нормы.

И жевательная резинка (тогда ее называли «чуингам»). У американцев ею были полны карманы, и раздавали они ее щедро. У нас было указание: не шарахаться и брать, только соблюдать меру, не грести горстью. (Замечу в скобках: мне, сибиряку, привыкнуть к чуингаму оказалось легче, чем ребятам с той стороны Уральского хребта. Это они впервые в жизни столкнулись со жвачкой, а в Сибири испокон веков был свой чуингам, стар и млад жевали «серу» – ну, не вам объяснять, что это за штука...)

Затронув эту тему – мы и американцы, – о многом интересном можно бы рассказать, но не будем отклоняться от темы...

Чаще всего и я, и ребята из экипажа, и другие наши летчики сидели со здоровенным рыжим лейтенантом по имени Джейк Пим. Рубаха-парень был, любил слушать наши анекдоты с «картинками» и знал кучу американских, в большинстве своем вполне нам понятных, как и наши – американцам, анекдоты с «картинками» – явление интернациональное. Главное даже не в том, что он сносно говорил по-русски. Главное, он никогда не задавал тех самых скользковатых вопросов и не касался скользковатых тем, чем выгодно отличался от иных прочих.

Откуда сносное знание русского, он рассказал в первый же вечер. Оказалось, отец у него русский, за лучшей долей уехал в Америку за несколько лет до революции, да так и не вернулся (мы насторожились было, но вскоре успокоились – Джейк никогда не говорил ничего, хоть отдаленно походившего на «белогвардейскую пропаганду»). Фамилия у его отца в России была гораздо длиннее, это потом ее в Штатах «обрезали» – американцы такие вещи любят. Какая именно, Джейк и сам не знал, никогда этим не интересовался. Стопроцентным был американцем, иногда расспрашивал о том и об этом, но особенного интереса к «исторической родине» никогда не проявлял, в этом отношении ничем не отличался от большинства своих сослуживцев. Американец с русским папой, и не более того.

Очень быстро мы его стали звать Яшей, и он это принимал как некую экзотику. Это всезнающий Веня нам растолковал, что Джейкоб означает Яков (американцы любят уменьшительные имена не меньше русских).

Встречались мы каждый вечер – и мы четверо, и Яшин экипаж оказались «безлошадными». Нас в последнем вылете крепенько прижали «мессера». Из зоны их действия мы вышли на одном моторе, да и второй чихал, так что до родимого аэродрома тянули, как пелось в американской фронтовой песенке, на честном слове и на одном крыле. Ну, предположим, крыльев у нас осталось два, но все равно самолет изрешетило так, что он годился только на слом. А когда поступят новые, совершенно неизвестно. Хорошо еще, никого не убило и серьезно не ранило (мелкие царапины не в счет). Но все равно очень тягостно быть «безлошадным», когда ребята что ни день уходят в боевые вылеты и кое-кто из них не возвращается. Прямо-таки виноватым себя чувствуешь, хотя твоей вины тут нет никакой, да и никто из окружающих не виноватит – так уж обернулось дело, хорошо еще, все живые и почти не поцарапанные... И все равно на душе премерзко, кто сам не испытал, не поймет в полной мере...

С Яшиным самолетом тоже случилась неприятность, правда, не такая серьезная. Дырок от пуль и осколков оказалось совсем немного, но один мотор изнахратили качественно, и до аэродрома они шли на трех. Дырки наши технари заделали быстро и привычно, но мотор восстановлению не подлежал. А заменить его было невозможно – у нас таких моторов просто-напросто не было. Вот тут американцы сами себя перехитрили. Яша, как и остальные аме-

риканцы, кто у нас садился, летал на знаменитой «летающей крепости», Б-29, четырехмоторной громадине с солидной бомбовой нагрузкой и кучей пулеметов. Отличная была машина, типа нашего Пе-8, только у нас их было всего-то штук под восемьдесят, а у американцев – не в пример больше. Они нам по ленд-лизу поставляли неплохие самолеты: и истребитель «Аэрокобра» (Покрышкин на таком летал), и легкий двухмоторный бомбардировщик Б-25 «Митчелл», и летающие лодки. Вот только Б-29 так и не дали, хотя наши наверняка и просили. Большая грязная политика, ага... Так что неоткуда у нас было взяться моторам для «летающей крепости», а запасных американцы не завезли.

(Забегая вперед: ящики с разобранным мотором Яше из Франции прислали уже через неделю, а вот мы проторчали на земле – ни много ни мало – восемнадцать дней, как одна копеечка...)

Но я опять не о том... Дня через три после нашего знакомства с Яшей вызвал меня Кумышев и с ходу взял быка за рога: я все равно без дела маюсь, а потому он с санкции командования хочет мне предложить задание по своей линии, касаемо как раз американцев.

Я чуточку растерялся и сдуру ляпнул:

– Я, товарищ капитан, сроду шпионажем не занимался, могу и не справиться...

Он ничуть не рассердился. По своей всегдашней привычке поскреб подбородок (на сей раз чисто выбритый, он вообще-то был аккуратист), попыхтел папироской и сказал не сердито и не раздраженно, скорее уж наставительно:

– Неправильно формулируете, капитан. Шпионаж – это добывание государственных и военных секретов. А я хочу на вас возложить нечто совершенно другое...

И подробно объяснил, что имеется в виду. А поручалось мне вот что: вечером в разговоре с Яшей за чарочкой навести разговор на нужную тему и попытаться вызнать у него, не встречали ли американцы во время ночных вылетов странные светящиеся шары – как мы в тот раз. Если что-то такое было, вряд ли он станет умалчивать: мне великолепно известно, что у нас мой рапорт о шарах никто не секретил и не запрещал мне о них рассказывать другим. Наверняка у американцев точно так же, хотя кто их знает...

Удивил он меня не на шутку – отнюдь не секретным поручением, хотя мне и впервые в жизни пришлось такое поручение принимать, а куда денешься? Другое удивило: прошел почти год, а они, выходит, вовсе не списали мой рапорт о шарах в пыльный архив, до сих пор этим делом занимаются?! Ну, в конце концов, им виднее, чем заниматься, тут я им ни с какого боку не советчик...

Мы еще немного поговорили, и Кумышев мне обстоятельно разъяснил, как лучше всего навести беседу на нужную тему. Я слушал внимательно и мотал на ус – задумка была толковая. Никакого внутреннего неприятия у меня не было – в конце концов, Кумышев прав, никаких государственных тайн и военных секретов от меня не требовалось выведывать. К тому же мне самому стало жутко любопытно: а вдруг американцы тоже с чем-то похожим встречались?

Кумышев сказал еще: поскольку, как уже говорилось, история эта не засекречена, я свободно могу ее рассказать Яше. Если и у них подобное случалось и оно не засекречено, он обязательно расскажет.

В тот же вечер подвернулся удобный случай. Разговор зашел о том, какая пакостная штука ночные истребители – на некоторые, по точным данным, фрицы, изобретатели хреновы, уже начали ставить радиолокаторы...

Вот оно! И я сказал:

– Прекрасно тебя понимаю, Яша, но истребители – зло, так сказать, привычное. Бывает еще и непонятное...

– Ты о чем, Кон?

(Я у них с самого начала был Кон, против чего ровным счетом ничего не имел – «Костя» звучало чуточку потешно.)

Я рассказал, как однажды ночью на левом крыле самолета вдруг неведомо откуда возник белый шарик размером, если прикинуть, с крупное яблоко. Появился на самом кончике крыла, яркий, словно бы мохнатый, пренебрегая встречным воздушным потоком, неспешно покатился к мотору, но на полпути беззвучно взорвался. Самолет летел дальше как ни в чем не бывало, это случилось уже на обратном пути с очередной бомбежки, так что добрались благополучно. Обнаружилась дыра в обшивке размером с тарелку, но ее быстренько, привычно заделали.

Он нисколько не удивился. Спросил деловито:

– А грозы случайно в ту ночь не было?

– Была, – сказал я чистую правду. – Самолет в нее не попал, она неподалеку по левому борту разыгралась...

Я не стал уточнять, что это было на самом деле именно так, но приключилось не со мной, а с экипажем из второй эскадрильи.

– Ну, так это шаровая молния, – сказал он буднично. – С нами такого не случалось, а вот с ребятами было. Только молния зажглась не на крыле, а на хвосте. Рванула так, что из правого руля высоты кусок вырвало, и пришлось возвращаться...

– Ну да, явно шаровая молния, – сказал я. – Только с ней проще: никто не знает, что она такое, но хорошо известно, что они есть. А бывают вещи гораздо непонятнее...

И совсем было приготовился рассказать ему во всех подробностях о светящихся шарах. Только он опередил:

– Вот именно, насквозь непонятное...

И принялся рассказывать. Оказывается, и у них, и в других частях несколько раз в ночном небе над Германией за самолетами следовали светящиеся шары, правда, не ажурные, а словно бы сплошные, разного цвета: желтые, белые, синие. Они никогда не появлялись в одиночку, всегда группами. В точности как с нами обстояло: появлялись неведомо откуда, какое-то время сопровождали самолет, а потом, не причинив ни малейшего вреда, исчезали так же внезапно, словно выключатель повернули. Как и мы, никто у американцев не смог определить дистанцию, потому что не мог узнать размеры шаров. Поначалу их посчитали новейшим секретным оружием немцев, но потом от этой версии отказались: именно из-за того, что вреда от шаров не получилось никакого. Два раза по ним стреляли – один раз хвостовой стрелок палил по собственной инициативе, в другой раз ему приказал командир. И ничего не произошло: шарам, такое впечатление, пули не нанесли никакого ущерба, а сами они ничего против самолетов не предприняли. И не погасли, не отвернули прочь – летели себе за бомбардировщиками как ни в чем не бывало...

Конечно, на земле американцы по начальству докладывали – как и я. Но никто не знал, что же тут можно предпринять, и дело само собой заглохло, чему я нисколько не удивился – а что тут можно предпринять? Пули их не берут, вреда от них нет...

Когда он закончил, я совсем было собрался рассказать о том, что приключилось с нами, – коли уж получил на то прямое разрешение. И опять опоздал: Яша посмотрел на меня как-то странно и словно вроде бы заколебался в первый момент, но потом все же решился:

– Эти чертовы шары – еще не самое необычное, что можно ночью увидеть над чертовой Германией...

– А что еще там можно увидеть? – насторожился я.

– Кон, ты не поверишь...

– А вдруг да поверю? – сказал я, охваченный неким предчувствием.

– Ну, ладно. Клянусь здоровьем мамочки. Это на самом деле с нами было с месяц назад...

Я слушал молча – и наверняка на лице у меня не отражалось ни малейшего недоверия – он говорил все увереннее. Откуда было взяться недоверию, если он примерно в тех же словах, как и я, доведись мне рассказывать, описывал нашу девушку?!

С ними произошло практически то же самое: вдруг увидели, что на правом крыле в грациозной позе, словно на песке пляжа, лежит девушка. Те же синие глаза, те же темные волосы, то же коротенькое платье в диковинных узорах, по которому проплывали от подола к шее волны неяркого света. Видели ее, кроме Яши, еще три человека. Сколько это продолжалось, они в точности не определили, но вряд ли долго. Потом она пропала, словно выключатель повернули, только что была – и нету... Разве что, в отличие от нас, они шли не на бомбежку, а с бомбежки.

Начальству они, обсудив все на земле, решили, как и мы, ничего не докладывать. Полковник у них, сказал Яша, был известным насмешником. Наверняка сказал бы что-нибудь вроде: «Долетались, уже девки мерещатся. Чтобы не мерещились, снимите в увольнении какую-нибудь уличную фею, авось полегчает...» Попытались за стаканчиком рассказать о девушке парням, с которыми сошлись ближе всех, но те с ходу не поверили, мало того, высмеяли, сказали, что любой фантазии есть пределы и врать надо уметь. Первой неудачи хватило с лихвой, и больше они никому не рассказывали...

Закончив, Яша сказал словно бы даже с некоторым удивлением:

– А знаешь, Кон, такое впечатление, будто ты веришь. У тебя лицо не насмешливое...

Тут бы и рассказать ему всё, благо никакого запрета не было, откуда ему взяться, если мы никому не рассказывали и рапортов о случившемся не писали? Но я не смог, останавливало что-то. Уж Яша-то непременно поверил бы, не раздумывая долго. И все же что-то остановило. Более того, я сыграл роль скептика. Сказал:

– Знаешь, читал я в каком-то журнале... Дело было в Первую мировую. На прожектор наложили целлулоидный лист с рисунком Богородицы, ночью направили луч в небо – и куча народу увидела на облаках лик Богородицы. Моральный дух солдат поднять таким образом хотели, что ли. Не помню, было это у нас или у немцев...

– Вот уж ничего похожего! – энергично возразил Яша. – Какой, к черту, целлулоидный лист с картинкой, если она держалась как живая? Ни капли похожего на застывшее изображение – голову поворачивала, будто осматривалась, и еще язык мне, зараза, показала... Мы разные объяснения пытались поискать. Один парень был уверен, что это немцы придумали какую-то хитрую штуку, особый такой кинопроектор, хотели нас напугать за неимением лучшего. Вообще-то немцы – те еще выдумщики. Только я так думаю: если они хотели бы нас напугать этим секретным кинопроектором, придумали бы что-нибудь другое, пострашнее красивой девчонки в куцем платьице – чудище, смерть с косой, черт с рогами, Гитлер кулаком грозит... Резонно?

– Резонно, – согласился я.

(Мы и сами о чем-то подобном думали, но по размышлении от этой версии отказались: что это за чудо-проектор, посылавший изображение с земли на верхнюю плоскость крыла?)

– Нет уж! – сказал он, расплескав по рюмкам. – Американского парня красивой девчонкой со стройными ножками ни за что не напугаешь. Пусть даже она появилась таким вот образом. Удивились мы жутко, но нисколько не испугались. Взятась она неизвестно откуда и неизвестно куда пропала, только вот нисколько не походила на какое-нибудь жуткое привидение. Попадись такая на земле, уж я ее прижал бы, чтоб пищала...

(Интересно, что и мы чувствовали примерно то же самое: удивились страшно, но вот не испугались нисколько. В самом деле, ничего похожего на жуткое привидение...)

– Не веришь, Кон? – спросил Яша с таким видом, словно заранее с этим смирился.

– Честно тебе скажу: не знаю, что и думать, – сказал я. – Чего только на свете не случается...

Разговор наш, так уж получилось, перекинулся от девушки с ночного неба на девушек вполне земных – молодые были оба. Больше я к чудесам небесным не возвращался – было что рассказать Кумышеву (он остался доволен и благодарил). Потом Яша починился и улетел и

больше на нашем аэродроме не появлялся. Очень надеюсь, с ним не случилось ничего плохого. Тем более что не появился и никто из знакомых нам американцев – скорее всего их эскадрилью, как на войне случается, перебросили на другой участок, а то и на другой фронт, такое и с нами бывало...

Вот такая история, верьте не верьте, невыдуманная.

Читал я кое-какие журналы лет через двадцать после войны, особенно «Технику – молодежи» с ее «Антологией таинственных случаев». Знаете? Ну вот... В свое время как-то разом, словно бы толчком начали много писать об НЛО. Уж не знаю, как там на самом деле с «летающими тарелками» обстоит, да и никто, наверное, не знает точно, только в одной статье мне попало упоминание о загадочных светящихся шарах, которые сопровождали самолеты союзников над Германией (о том, что такое случалось и у нас, не писали ни разу, во всяком случае, мне такое никогда не попадалось).

А вот о нашей девушке я ни разу нигде не читал. И что она такое, решительно не берусь гадать. О феях на земле есть много сказок и легенд (некоторые жена читала детям, когда были совсем маленькими, но вот о небесных феях никогда не слышал и не читал. Германские валькирии – всё же из совершенно другой оперы. А на ведьму на помеле она нисколько не походила, не было никакого помела...

В одном я твердо уверен: не была она никаким таким изображением, никакой такой проекцией, она была живая, хоть и не знаю, как это понимать. Язык мне показывала, и Яше тоже. Такая вот получалась проказница. И главное, никак нельзя сказать, что она нам принесла какое-то несчастье.

Красивая была – спасу нет...

Короткие встречи на долгой войне

Люди у костра

Из штаба полка я возвращался в самом что ни на есть раскрепощенном расположении духа.

Во-первых, к моим Славе третьей степени и двум медалям присовокупилась третья, которую в штабе и вручили. Да не какая-нибудь второразрядная, а самая у солдат почитаемая – «За отвагу». Так уж получилось, что «За боевые заслуги» у меня было целых две, но «Отвага» стоила их обеих, вместе взятых, пожалуй.

Во-вторых, нам еще не меньше пары недель предстояло провести в приятном, что греха таить, отдалении от передовой – а опытный солдат крайне ценит такой отдых, выпадающий нечасто. В наступлении наш полк потери понес серьезные, и нас отвели в ближние тылы на переформирование, принять пополнения и восполнить убыль техники. От передка нас отделило больше двадцати километров, так что единственное, чего стоило опасаться, – это немецкие бомбардировщики. Ну, в конце концов, теперь был далеко не сорок первый, когда немцы ходили по головам...

И наконец, впереди, в землянке, меня ожидало маленькое торжество по случаю медали. Заветная фляга была полнехонька, кроме ужина из полевой кухни, имелась у нас и немецкая консервированная колбаса, и рыбные консервы. Так что ноги сами вперед несли. Я уже отмахал полпути, километра два, примерно столько же и оставалось. Погода безоблачная, везде сухо, ни грязи, ни сырости – нормальное такое начало сентября, под стать моему настроению.

За то время, что мы здесь стояли, я успел изучить карту прилегающей к передовой местности (и ближние немецкие тылы). Хорошая была карта, еще довоенная. Нам карты выдали почти сразу ввиду специфики службы – разведка полкового артиллерийского дивизиона. Нельзя было исключать, что нас, пока остальные заняты пополнениями и новой техникой, опять отправят в эти самые ближние немецкие тылы – ну, дело знакомое...

От места нашего расположения к штабу вели две дороги. Одна подлиннее, километров семь, с некоторыми удобствами, другая покороче, километра четыре, без всяких удобств. Удобства эти заключались в одном: в попутном транспорте. Длинная была шоссейкой с оживленным движением, где можно было поймать попутку, короткая – узенькой проселочной, по которой давненько уж не ездили – те две деревни, что она соединяла, немцы по звериной своей сущности спалили дотла, бежавший в лес народ только-только начал возвращаться на пепелища, и не было у них ни единой лошаденки, ни единой телеги.

Едва узнав, что меня вызывают в штаб, я отправился туда короткой дорогой, по ней сейчас и возвращался. Работала солдатская смекалка: ехать в кузове, конечно, приятнее, чем чапать пешедралом туда и обратно, однако опыт подсказывает: никак нельзя заранее сказать, как будет обстоять с попутками. Не во всякую машину и попросишься – сразу отпадают санитарные, штабные и просто груженные грузовые, но и не всякий идущий порожняком шофер тебя возьмет – разный и среди них попадался народ. Так что я с самого начала настроился на марш-бросок пешком туда и обратно, тем более что погода стояла прекрасная, надо мной не капало, а под ногами грязюка не чавкала.

Шел восьмой час вечера, и уже смеркалось – лето кончилось. Ничего страшного, с пути я сбиться не боялся: хотя дорога и заросла травой, за многие годы колеи от тележных колес накатали так, что заблудиться я не опасался. Да и не такой был лес, чтобы привыкшему к тайге сибиряку в нем заблудиться...

Свернул за поворот и увидел впереди, метрах в двухстах, костер, ярко горевший на обочине дороги. Враз остановился, присмотрелся.

Не было ни страха, ни даже тревоги или беспокойства. Достоверно было известно, что в этом редколесье с самого начала не было ни единого немца-окруженца. Не устроили наши им ни окружений, ни «котлов», ни «мешков» – когда мы наступали, немцы довольно организованно отошли. И потом, будь это даже окруженцы, ни за что не стали бы разжигать костер, тем более в открытую, на обочине дороги, пусть и проселочной, по которой давно не ездили. Хоронились бы где поглуше.

И все же бдительности я не терял, живенько сошел с дороги в лесочек и, как не раз приходилось в разведке, стал, не производя шума, подбираться поближе между деревьями. Мало ли что, все-таки война идет...

Я был при автомате, правда, с единственным рожком, но все равно не с пустыми руками. Уходя, хотел по привычке положить в карман и гранату, но подумал и не стал: места, как я говорил, были спокойные, и неудобно было как-то заявляться в штаб полка с гранатой в кармане. Главное, автомат имелся с полным рожком...

Довольно быстро я подобрался к костру метров на пятнадцать, выбрал позицию за деревом, откуда мог прекрасно разглядеть сидящих у костра. И удивился не на шутку...

Все четверо, двое парней и две девчонки, были в штанах, но каких-то диковинных, никогда таких не доводилось видеть. Дело даже не в том, что они были неглаженные, без стрелок – шароварами меня не удивишь. Но в том-то и суть, что они выглядели отнюдь не мешковато, как шароварам и полагалось – сидели как-то очень уж ловко, не казались неглаженными, мятыми, хотя у всех были потертыми. Темно-синие, походившие на форменные – как-никак у всех четырех одинаковые. Вот только такой формы не было ни у нас, ни у немцев, ни у прочих венгров с прибалтами, которых мы тоже насмотрелись. И ботинки какие-то странные. А уж куртки... Яркие, разноцветные, на первый взгляд непонятно даже, из какого материала прошитые.

Это еще не самое диковинное. Там у них, явственно слышалось, играла музыка – негромкая, приятная, инструментальная. Как будто возле костра был репродуктор – но откуда ему взяться в такой глуши? Ближайший репродуктор – в райцентре, километрах в десяти отсюда, вдоль дороги даже столбов с проводами нет, а судя по отсутствию следов от них, их и до войны не было – небольшие здесь были деревеньки, жившие без электричества и радиоточек. И тем не менее явственно слышалась музыка...

И машина на обочине, легковая, это, несомненно, была машина – только тоже диковиннее некуда. Нисколько не походила на те, что я видел в жизни, в кино, на картинках – ни на современные, ни на старинные. Совершенно другого вида машина. Капот, кабина, зад – сплошь прямые линии, этакая коробка на колесах, сразу мне не приглянувшаяся. Очень уж непривычной смотрелась...

Каждое слово их разговора до меня долетало четко. Причем разговор был самый что ни на есть мирный, можно сказать, довоенный. Говорили о каком-то Сережке, который насмерть поссорился с какой-то Клаvoyчкой, хотя любовь до того крутили долго и старательно. Вот и гадали теперь, помиряются они, или выйдет так, что разбежались бесповоротно. Говорили на чистейшем русском, разве что порой в разговоре проскакивали совершенно непонятные словечки. Вот это как раз нисколько не удивляло. Как поется в известной песне, широка страна моя родная. Во многих ее уголках есть свои говоры, попадают слова, которых в других местах абсолютно не понимают – у нас в Сибири, на Урале, на Кубани, на Севере у поморов...

Беззаботная эта их болтовня мне легонечко пришлась поперек души – война, только что закончилась оккупация, фронт рядом, а они щебечут о пустяках, словно на довоенных танцульках. И почему это парни не на фронте? Здоровенные, не заморыши военного времени, на вид оба годные без ограничений, но прически совершенно штатские, даже чересчур длинные волосы, на мой взгляд. В прифронтовой полосе уже всю работу полевые военкоматы... округу прочесывают частым гребнем, как же эти от призыва отвертелись? Сидят себе с дев-

чонками у костерка как ни в чем не бывало, как будто и нет войны, да еще и легковушка у них, очень даже странная...

Одежда диковинная, но, такое впечатление, отнюдь не бедная, прически странноватые (это у парней, а у девочек и вовсе никаких причесок, длинные волосы по плечам распущены, что совершенно не в моде), машина эта их непонятная... Что за компания, кто такие? Одно ясно: на местных деревенских никак не похожи, да и на городских тоже – где это у нас в городах так одеваются и с такими волосами ходят?

Первая мысль у меня была незатейливая, но как нельзя лучше подходившая военному времени: «Немецкие шпионы!» Но я тут же от нее отказался. В жизни не видел немецких шпионов, но слышать слышал. Да и наших разведчиков пришлось однажды в немецкий тыл переправлять. Одеты они были и выглядели так, что ничем не отличались от местных жителей, а как иначе? Иначе – до первого жандарма или полиция. Вот так и немцы ни за что бы не стали засылать к нам в тыл сразу четырех человек, одетых так причудливо и странно, что моментально привлекли бы к себе всеобщее внимание. Окрестности прямо-таки набиты нашими войсками – наш полк, дивизионные тылы, танкисты и артиллеристы из других частей, кавалеристы, аэродром с истребителями и ночными бомбардировщиками. На дорогах посты, повсюду патрули и дозоры... А у этих еще и машина вдобавок предельно странная, на оживленной дороге такую первый же пост тормознул бы для вдумчивого выяснения. Как немцы такую ухитрились бы переправить в наши тылы, не на самолете же – и какой смысл, если она издали в глаза бросается, как клоун при полном параде на фоне пехотной колонны?

Вообще, как они доехали незамеченными до этого самого места? Не с неба же упали? И ведь нисколько не боятся, не хоронятся, машины оставили на виду, костер развели чуть ли не на обочине, разговорчики ведут беззаботные в полный голос... Нет, никак они не могут оказаться немецкой разведгруппой. Тогда кто? А леший их маму знает...

Одно ясно: неопасные. Оружия при них не видно. Конечно, в карманы им не заглянешь, там у них вполне могли оказаться и пистолеты, и гранаты, но отчего-то мне в такое абсолютно не верилось – ну не тот у них был вид, как хотите...

Пора было придумывать, как быть дальше. Не мог же я торчать тут битый час, подслушивая их мирную болтовню. Меня ждала наша уютная землянка, маленькое застолье с полной флягой, да и проголодаться успел не на шутку. Пора и восвояси. Вообще-то ничего не стоило обойти их лесом, оставшись незамеченным – особенно для бывшего разведчика, каким я себя считал с полным на то основанием. Быстрым шагом отмахать остаток пути самое большее минут за сорок – и дома...

Вот только я почувствовал, что не могу уйти просто так, оставив за спиной эту загадочную компанию. Что скрывать, была у меня по молодости лет – всего-то двадцать два с небольшим – такая авантюрная жилочка. Делу она никак не вредила, ничего я никогда не испортил, но случилась пара историй, когда я получал от начальства втык за неуместную бесшабашность. Долго рассказывать, но однажды именно что «за авантюризм» я вместо Красной Звезды, к которой уже собирались представлять, получил «За боевые заслуги»...

В общем, я вернулся на дорогу и пошел к ним открыто, ничуть не прячась. Ничем особенным не рисковал – бывал в переделках и почище. Вздумай кто-то из них вытащить пистолет, я бы его моментально срезал из своего ППС, удобно висевшего на плече. Только вот, воля ваша, они ничуть не походили на людей, способных хватко достать из кармана пистоль – ну никак не походили, очень мирными выглядели, домашними...

Я не крался, конечно, но и не бухал сапожищами, так что они меня услышали, когда я подошел чуть ли не вплотную. Ничуть не встревожились, не всполошились, смотрели на меня совершенно спокойно, разве что с легоньким, совсем даже легоньким удивлением. А я, парень с авантюрной жилкой, спросил совершенно непринужденно:

– Вечер добрый. К огоньку присесть позволите?

– Вечер добрый, – ответил один из парней. – Милости просим.

Без малейшей напряженности ответил – и в карман не полез. Никто из четверых в карман не полез, глядели на меня совершенно спокойно, и никак не похоже, чтобы видели во мне какую бы то ни было для себя угрозу.

Я, конечно, не расслаблялся. Сел и примостил автомат на коленях так, чтобы при необходимости моментально полоснуть очередью в упор. Сел на поваленный, явно непогодой или от старости, осиновый ствол – их там лежало целых два, не спиленных, а сломанных в комле, причем, очень похоже, давненько. На них вся компания и сидела, и мне место нашлось, и еще человек несколько свободно разместилось бы. Меж ними и горел костер. Я сразу определил: зажгли его тут не в первый раз, обширное было кострище.

Но что интересно! Шел я в штаб этой самой дорогой – и на пути туда не видел на опушке ни двух поваленных деревьев, ни большого кострища, а теперь они взялись неведомо откуда...

Были вещи и поинтереснее. Много чего я моментально высмотрел. Понятно, головой не вертел и по сторонам не таращился, но хороший разведчик как раз и должен уметь моментально высмотреть вокруг всё, достойное внимания.

А посмотреть было на что. Диковина на диковине. Музыка, оказалось, доносится из странного большого ящичка – к нему не тянулось никаких проводов, и за прозрачным окошечком вертелись две какие-то катушки. А рядом стояла загадочная печурка: толстый ящичек с присобаченным к нему красным баллончиком. Ровно горел венчик из язычков синеватого пламени – совершенно такие в газовых плитах, видывал, как же, я же не с елки соскочил, в городах бывал, и в больших, – и на нем закипал зеленый эмалированный чайник. Ни такого музыкального ящика, непохожего на патефон, ни такой печурки я в жизни не видел, а вот чайник, наоборот, ни малейшего удивления не вызывал, он был самый обыкновенный, разве что чуточку не такой формы...

Чувствовал я себя легко и непринужденно – совершенно вольно отчего-то. Ну и сказал как ни в чем не бывало:

– Будем знакомы? Алексеем меня зовут.

Они тоже назвались. Совершенно обычные имена – Вадим, Максим, Лена и Катя. Разве что у Вадима на шее под расстегнутой полосатой рубашкой обнаружилась цепочка из желтого металла – как у девчонки. Тогда такие цепочки на шее у парней были совершенно не в моде, появись кто с такой, света белого не видел бы, засмеяли. Но остальные трое держались так, словно это было самым обычным делом.

Все четверо курили – и девчонки тоже. А ведь до войны курящая девушка – явление немыслимое. Приличная, я имею в виду. Считалось, что курят только, назовем вещи своими именами, проститутки и прочие приклатненные шалавы. Однако ни Лена, ни Катя на шалавы нисколько не походили: ничуть не вульгарные на вид, приличные девочки. Разве что в штанах и с сигарками. Сигарки тоже были странные: не привычные папиросы, а сигареты наподобие немецких трофейных, причем у них на конце был цилиндр, желтый со светлыми крапинками, его брали в рот и очень ловко пускали дым. В жизни таких не видел.

Чайник вскипел, подпрыгнула крышка. Максим повернул какую-то ручку, и синее пламя погасло. Снял крышку, ловко подцепив ее толстым сучком, насыпал заварки из круглой жестяной баночки, опять прикрыл крышкой. Вот это было насквозь знакомо – мы точно так же заваривали чай прямо в чайнике.

Примечательно эти четверо выглядели. С одной стороны, самые что ни на есть обыкновенные парни и девчонки, разве что одеты необычно, и прически странноватые. С другой... Они были какие-то сытенькие, благополучные. В тылу у гражданских лица большей частью подтощальные, а то и изможденные, тыловой гражданский паек – смех один. А эти выглядели так, словно обитали где-то в сытости и благополучии вдалеке от войны, в полном довольстве жили. Очень даже странно. Я не вчера родился и слыхивал, что генеральские детки, вообще

дети больших начальников живут не в пример лучше и сытнее своих обычных сверстников – но откуда бы в прифронтовой полосе взялась компания генеральских сынков и дочек? Загадка... Точнее говоря, загадка на загадке.

Вадим небрежно так спросил:

– Леш, я так понимаю, ты тут на сборах? Поэтому так и вырядили?

Какие, к лешему, сборы, когда война третий год гроыхает? И кто это меня «вырядил»? Самая обычная форма, хотя и х/б. Все же не такая замызганная, как это бывает в пехоте – разведчики всегда фасон блюли и вахлаками не ходили.

Я не стал лезть в бутылку. Ответил весьма даже дипломатично:

– Так уж вышло...

Судя по всему, его такие слова полностью удовлетворили. Кивнул:

– Ага. Мы на дороге целую колонну бэтэров обогнали...

Я не понял, о чем это он. Слово «бронетранспортер», как и его сокращение, тогда было совершенно не в ходу. Бронетранспортеры в армии появились только после войны, в конце сороковых. Вот у немцев имелись, нескольких модификаций, но тогда их все называли попросту «броневиками»...

А потому я ответил столь же уклончиво:

– Ну да, это наверняка наши...

Меня тоже потянуло покурить, и я вытащил свой кисет (трофейные сигареты как раз кончились, и снова пришлось взяться за кисеты). Кисет у меня был знатный, из подарков тыла фронту – из синего вельвета, с вышитой желтыми нитками надписью «Боец, бей фашистских оккупантов!». Спросил:

– Газетки у вас не найдется, самокрутку скрутить?

Максим посмотрел на меня, словно бы жалеючи, покрутил головой:

– Плохо же вас снабжают...

Почему плохо? Обычная махорка, и, что хорошо, выдавали ее вовремя, что не всегда случалось. Но я промолчал, а он протянул мне раскрытый портсигар, предложил:

– Запасайся...

Я не нахальничал, взял сигарету с желтым цилиндром, а за ухо про запас сунул вторую. Насмотревшись, как курят они, сунул в рот цилиндр, словно бы из прессованной ваты, Максим поднес мне зажигалку – большую, блестящую, с высоким огоньком, словно бы даже и не бензиновым. Оказалось, дым через него проходит очень даже свободно. Вот только табачок оказался некрепким, слабее даже легкого табака, не говоря уж о горлодеристой моршанской махорке. Но дареному коню, как известно, в зубы не смотрят, и я докурил чуть ли даже не до цилиндра.

Тут и чай поспел. Разлили его в насквозь привычные кружки, железные, эмалированные, в точности как у нас. Катя – она у них, я сразу подметил, была за хозяйку – сказала мне заботливо:

– Алеша, не стесняйся, бери, что на тебя смотрит. У меня старший брат был на сборах, знаю я, как там кормят – суп да каша...

Ну, я в таких случаях застенчивостью никогда не страдал. А смотрело на меня много чего: по военным меркам, стол был прямо-таки фантастически роскошный, я на него, едва присел на поваленное дерево, обратил внимание. Сказка! Шмат ветчины, сыр, копченая колбаса, все накрошено толсто, мужской рукой, без всякого намека на экономию. Буханка белого хлеба, какой на фронте видели только летчики и старшие командиры, причем далеко не все. Вот хлеб был нарезан очень аккуратно, явно женской рукой. Печенье, горка конфет в незнакомых фантиках (вскорости оказалось – шоколадные).

Я прожевал кусок колбасы, соорудил два бутерброда, попробовал конфеты. Все было свежее, вкуснее, тут уж было не до предстоящего маленького торжества с немудрящей заку-

кой, не идущей ни в какое сравнение с их разносолами, лежавшими на небольшой, словно бы и не матерчатой скатерке. Подзаправился я неплохо, жуя бутерброды, думал о прежнем; кто они такие с их роскошной едой, странными вещичками и диковинной машиной?

Как водится, все после чая закурили, и я вытащил из-за уха странную сигарету. И дернул все же черт, напрямую спросил:

– Ребята, а как так получилось, что вы не на фронте?

Любой реакции ожидал, но не такой... Они переглянулись и расхохотались, открыто, весело. Ничего для меня обидного я не усмотрел – так смеются люди, услышав хорошую шутку. Максим развел руками, сказал определенно шутливо:

– Мы бы с радостью, да не берет никто...

Ну ничего себе! Их обоих любой военкомат с руками бы оторвал по категории «годен без ограничений» – а их, извольте видеть, не берут. Вообще в те времена у высокого начальства было категорически не принято прятать детей от фронта. Наверняка там и сям случались шкурные исключения, но смотрели на такие вещи очень и очень косо. Как же иначе, если сам товарищ Сталин обоих сыновей послал на передовую, а единственный сын товарища Микояна воевал летчиком-истребителем?

Я ничего не сказал. Неудобно было как-то – неплохие, сразу видно, ребята, к богатому столу пригласили, держались совершенно незаносчиво. Я им, в конце концов, не судья, хотя в глубине души никак не могу одобрить, что такие вот молодые здоровяки, мои ровесники, от фронта хоронятся...

Воцарилось чуточку неловкое молчание. Я понимал причину – им явно показалось невежливым болтать о своих бедах – наверняка сугубо мирных! – при незнакомом человеке, который в них ничегошеньки не понимал. А общих тем для разговора что-то не отыскивалось.

Я подумал, что пора и честь знать, ребята заждались. Поднялся, поблагодарил душевно за угощение. Никто меня не удерживал, распрощались, и Катя мне пожелала побыстрее разделиться со сборами. Дались им эти сборы...

Как и прикидывал, до своих добрался за полчаса с небольшим. Стали обмывать мою медаль, все прошло по высшему классу. О странной встрече и обо всем, что ей сопутствовало, я ни словечком не упомянул, не потому, что хотел сохранить это в тайне. Просто... По размышлении и встреча эта, и те четверо, несмотря на всю их необычность, показались какими-то неинтересными. Не было никаких таких особенных чудес, которыми хотелось бы поделиться с окружающими.

И после войны я эту историю тем более никому не рассказывал. Более того, понемногу она стала забываться, словно какой-нибудь смутно помнившийся сон.

А лет двадцать спустя, в шестидесятые, поневоле пришлось вспомнить во всех подробностях. Сама жизнь заставила, чередой пошли примечательные события...

В большую моду вошли джинсы, в точности те самые, «форменные брюки», что тогда были на всей четверке. Молодежь в них чуть ли не поголовно щеголяла, и мужчины, и женщины. Я тоже со временем прикупил себе джинсы – говоря по-военному, для повседневного ношения. Мне тогда годочков было немало, на полпути от сорока к пятидесяти, но и жена, и сын с дочкой меня в конце концов убедили. Я и сам видел, что джинсы запросто носили не только мои ровесники, но и люди гораздо старше. Удобная все же вещь: и прочные, и гладить не надо, а если вытрутся, то это только модно. Для дачи одежды лучше и не придумаешь.

Девушки в массовом порядке закурили, и никто уже не считал их ни проститутками, ни шалавами, разве что особенно упертые старики. Правда, некоторые приличия все же соблюдали – старались не дымить на людях, на улице. Мы с женой однажды убедились, что дочка тайком покуривает, но потачки ей не давали, настрого предупредили, чтобы с сигаркой в зубах на глаза не показывалась. Совсем бросить и не пытались заставить – безнадежное дело...

Курили девчонки исключительно сигареты с фильтром – как и я. Когда они вошли в широкий обиход, я моментально узнал те самые «желтые цилиндрики с крапинками» – фильтры, ясное дело...

И машины... Сначала я только в западных фильмах видел такие, как две капли воды похожие на машину той четверки: одни прямые линии, те самые «коробки на колесах», которые мне в войну не понравились, а потом стал привыкать, когда сменилась автомобильная мода и появились новые марки совсем другого облика. А году в семидесятом у нас под названием «Жигули» стали выпускать итальянский «Фиат», и не осталось никаких сомнений: тогда у них были именно что «Жигули» самого первого выпуска, те, что позже прозвали «копейкой». Я сам, отстояв несколько лет в очереди, приобрел такую. После войны стал заядлым автомобилистом, в пятьдесят восьмом купил четыреста первый «Москвич», с него и пересел сначала на «копейку», а там и на «шестерку».

Девушки стали носить волосы распущенными – после того как во французском фильме «Колдунья» так появилась Марина Влади, тогда уже знаменитость. Вошли в широкое употребление и куртки из синтетики – разноцветные, яркие (теперь мне ясно, что и их «скатерка» была синтетическая).

Машина, сигареты с фильтром, магнитофон, портативная газовая плитка... Одним словом, настал момент, когда я уже не сомневался, что встретился с парнями и девчонками из будущего. Всё в эту мысль прекрасно укладывалось, как патроны в обойму, абсолютно всё. Их сытый, благополучный и беззаботный вид – а каким ему еще быть? То, что они говорили о сборах, а войны словно бы и не знали. То, что на фронт «никто не берет» – и неудивительно, потому что нет никакого фронта. Ручаться можно, они и не заподозрили, кто я такой – мне приходилось потом три раза бывать на сборах, и нас одевали в форму времен Отечественной, даже тогда, когда парадно-выходная форма стала совсем другой, повседневная долго оставалась той же самой.

Мои награды? Тоже ничего удивительного, что они не опознали их сразу и не поняли, к какому времени они принадлежат, – уже далеко не все молодые в наградах Отечественной разбирались. А впрочем, «Отвагу» и «Боевые заслуги» до сих пор дают, это «Славой» после войны больше не награждали...⁹

Самое занятное, я могу примерно определить, откуда они – ну, с разбросом в несколько лет. «Жигули» первой модели стали продаваться в семидесятом, а кассетные магнитофоны пошли в широкую продажу в первой половине семидесятых. Кассеты были гораздо удобнее катушек с лентой, и все, кто только имел возможность, очень быстро приобрели кассетники. А у них был именно что катушечный. Так что – первая половина семидесятых, не раньше и не позже.

Вот так получилось: они не усмотрели ничего шибко уж необычного во мне, а я – в них. Так и распрощались. Причем... Я, хоть и через двадцать с лишним лет, сообразил, кто они такие, а вот они, есть сильное подозрение, так и не поняли, кто я такой. Их ровесник, попавший на военные сборы, – вот и все...

Как так вышло, что времена совместились без всяких звуковых и световых эффектов, на которые богаты фантастические фильмы, я и не берусь гадать. Так вот получилось – насквозь обыденно, буднично. Посидели у одного костра – и разошлись. Точно так же не берусь гадать, было ли приключившееся со мной одним-единственным, уникальным случаем.

И еще одно, над чем я не берусь ломать голову... Это я ненадолго провалился в будущее, или они – в прошлое? Поди разберись. С одной стороны, в моем времени не было на опушке ни поваленных деревьев, ни следа от нескольких разжигавшихся на том месте костров. Можно

⁹ Наш разговор происходил осенью 1986 года. Впрочем, медаль «За отвагу» вручается и сегодня, с нее только убрали надпись «СССР».

допустить, что это я ненадолго угодил в будущее. А можно думать, что дело обстояло как раз наоборот, что в прошлое попал кусочек опушки с кострищем и поваленными осинами, кто знает истину?

А эта свадьба...

Было это на исходе лета сорок пятого, в Чехословакии.

Наш танковый полк расквартировали еще в мае в нескольких маленьких городах. Они там стояли густо, как деревни в России, совсем недалеко друг от друга. Мне как командиру роты приходилось часто ездить по служебным делам и в штаб батальона (километра за два в соседний городок) и пореже – в штаб полка (вот до него было километров пять по лесной дороге – там были большие леса). Никакого труда это не составляло – у меня был трофейный мотоцикл, «Цундап» без коляски.

(После демобилизации я его забрал в Союз. Пришлось побегать, чтобы это устроить, но обошлось без особых хлопот, такое отлично прокатывало. Старшие офицеры и легковые автомашины привозили, а уж генералы... Генералам и некоторым полковникам из тех, кто занимал немаленькую должность, полагался целый товарный вагон.)

На обратном пути, когда проделал больше половины пути, мотор вдруг заглох. Выкатил я мотоцикл на обочину и стал смотреть, в чем дело, – полный комплект инструментов имелся, прежний, неизвестный мне владелец явно был человеком понимающим и мотоцикл содержал в исправности. Очень быстро выяснилось, в чем загвоздка – всего-навсего засорился карбюратор. Я еще до войны увлекался мотоспортом, мотоциклетные движки знал хорошо, так что быстро определил причину. Такой вот мелкий ремонт никаких сложностей не сулил: я быстро снял карбюратор, прочистил и поставил на место. Мотор исправно заработал. Оставалось вытереть руки и ехать. Погода стояла прекрасная, солнечная, с белыми облачками на небе.

Я как раз вытирал руки ветошкой, когда они появились вдалеке. С той стороны, откуда я ехал, прямая дорога далеко просматривалась – это за тем местом, где я сделал вынужденную остановку, она метрах в двухстах круто сворачивала направо. Так что я заметил их издали, нескольких всадников и первую повозку. За ней катили другие, и по обе стороны опять-таки рысью ехали всадники.

Ни малейшего беспокойства не было – чехи к нам относились просто замечательно, со всей широтой славянской души. Так что я преспокойно стоял и ждал, когда они проедут – повозки и всадники занимали всю ширину дороги.

Когда они оказались близко, я хорошо рассмотрел, что это за процессия – свадьба, тут и думать нечего. У коней в гривы вплетены цветы и ленты, лица у всех радостные, веселые. Что интересно, у них были не простые крестьянские телеги, каких мы здесь навиделись, – прямо-таки господские экипажи, запряженные парами и четверками. До того я такие видел только у здешних извозчиков, но их пролетки были не такими шикарными. Совершенно непонятно, откуда в таком количестве взялись тут и они, и разряженные всадники на красивых конях – не было в округе дворянских усадеб, а там, где они были, хозяева большей частью драпанули в американскую зону – после нашего прихода чехи начали национализировать и делить помещичью землю, разве что колхозов не устраивали...

Во втором экипаже, никаких сомнений, ехали новобрачные. Расфуфыренный жених с пижонскими усиками на манер знаменитого артиста немого кино Макса Линдера выглядел чуть глуповато: так и пыжился нешуточным самодовольством. А впрочем, понять его можно: невеста была красавица – светлые волосы, завитые локоны по плечам, синие глазищи, роскошное белое платье, кружевная фата. Так и светилась радостью и счастьем: брак по любви, тут и гадать нечего. На месте жениха я, наверное, тоже так пыжился бы: редкостная красавица в жены досталась, есть от чего задирать нос...

Когда со мной поравнялись передние всадники и передний экипаж, я и почувствовал – что-то не то. Не вполне обычная картина...

Одеты все они были странно: не по-современному, а по той моде, что у нас я бы назвал «дореволюционной», хорошо мне знакомой по семейным фотографиям, книжным иллюстрациям и кино из «прежней» жизни. Первый раз видел чехов, одетых так старомодно. Мужчины в длинных сюртуках и фраках, все поголовно в цилиндрах, и молодые, и пожилые, в штанах без стрелочек. Женщины – и пожилые, и молодые – в длинных, до полу, платьях и большущих шляпах. Цветы и целые букетики на лацканах, усы, роскошные бакенбарды, окладистые бороды... Словно прямиком из фильма «Венский вальс» – у нас его показывали до войны, шел с большим успехом.

Но одежда – это еще не главная странность...

В чем главная, я понял очень быстро. И всадники скакали, и экипажи ехали совершенно бесшумно! Не стучали конские копыта, не позвякивала упряжь, не доносилось ни словечка из разговоров – а ведь в некоторых экипажах люди оживленно беседовали! В хвосте катила большая повозка, там сидели пятеро несомненных цыган со скрипками, гитарами и бубном, видно было, что они во всю ивановскую наяривают что-то залихватское, веселое, как на свадьбе и полагается, но ни звука не доносилось, словно я смотрел немое кино.

Но это было не в кино и нисколько мне не чудилось. Все они выглядели совершенно реальными, ехали и скакали ясным днем, на расстоянии вытянутой руки – и никто, что характерно, не обращал на меня ни малейшего внимания, словно меня и на свете не было. Никто не повернулся в мою сторону, никто на меня не посмотрел, и это тоже было странно.

Я стоял как вкопанный, таращился вслед свадебной процессии, пока она не скрылась за поворотом лесной дороги. Тогда только, словно по некоей команде, освободился от странного оцепенения. Прыгнул на мотоцикл и помчался следом на приличной скорости. Давно должен был их догнать, но они будто в воздухе растаяли, я так никого на дороге и не встретил до самого «нашего» городка. Сгинули неведомо куда...

В голове у меня стоял полный сумбур, был в растрепанных чувствах. Оказавшись у себя в палатке, поступил незамысловато: налил стакан отличной чешской сливовицы, употребил и уже относительно спокойно кое-что обдумал.

Никакого сомнения: мне свадебная процессия не привиделась и не приснилась. Вот только я ни раньше, ни потом не слыхивал о привидениях, являвшихся бы среди бела дня... Они ничуть не выглядели привидениями, пусть даже я привидений не видел ни прежде, ни после и специалистом в данном вопросе считаться не могу. Этакая ожившая картинка из прошлой жизни, из старых времен, когда носили именно такую одежду и ездили исключительно на лошадях, верхом и в экипажах. И судя по их облику, люди отнюдь не бедные, вполне себе зажиточные, быть может, поголовно дворяне. Я их прекрасно видел, а вот они меня не видели...

Очень быстро я решил, какой линии поведения следует держаться. Рассказывать об увиденном никому не стоило, не поверят, подумают, что я их разыгрываю. Написать рапорт в «Смерш»? Не смешите... Расспрашивать чехов, не видел ли кто-то раньше такую вот бесшумную свадебную процессию, копаться в старых фотографиях в надежде, что на которой-нибудь увижу знакомые лица? Делать мне больше нечего... Написать в Академию наук? На смех подымут...

Понемногу история эта стала забываться, словно приснилось или не со мной произошло. Вот только я ее всякий раз вспоминал, когда слышал песню Муслима Магомаева «Свадьба» – а слышал я ее часто, она была когда-то в большой моде, а Магомаева я всегда любил.

А эта свадьба, свадьба пела и плясала,
и крылья эту свадьбу вдаль несли.
Широкой этой свадьбе было места мало,
и неба было мало, и земли...

И знаете что? Жених с невестой выглядели такими веселыми и счастливыми... Мне очень хочется верить, что они жили долго и счастливо. Вот только вряд ли умерли в один день – в жизни такого почти что и не случается...

Красноярск, сентябрь 2021 г.